

# Афины, их взлет и падение, книга I

Барон Эдвард Булвер Литтон Литтон

---

## Athens: Its Rise and Fall, Book I

Baron Edward Bulwer Lytton Lytton



# The Project Gutenberg eBook of Athens: Its Rise and Fall, Book I

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать ее, дарить или повторно использовать на условиях Лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге или на сайте [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org). Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

**Название:** Athens: Its Rise and Fall, Book I

**Автор:** Барон Эдвард Бульвер Литтон Литтон

**Дата выхода:** 20 октября 2006 [eBook #6151]

Последнее обновление: 29 декабря 2020 г.

**Язык:** Английский

\*\*\* НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK ATHENS: ITS RISE AND FALL, BOOK I \*\*\*

Подготовили Тапио Рийконен и Дэвид Уиджер

## АФИНЫ: ИХ ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ

Эдвард Бульвер Литтон

### ПОСВЯЩЕНИЕ.

ГЕНРИ ФАЙНЗ КЛИНТОНУ, ESQ. и т. д., и т. п. АВТОРУ "АДСКИХ ФАСТОВ".

Мой дорогой сэр,

Я не в большей степени ощущаю честь, оказанную мне, когда вы позволили мне начертать эту историю вашим именем, чем рад случаю выразить свою благодарность за помощь, которую я получал на протяжении всех моих трудов из этой памятной работы, в которой вы поддержали славу английского образования и внесли столь нетленный вклад в наши знания о Древнем мире. Для всех, кто ищет в истории истинную связь между причинами и следствиями, хронология - это не сухая и механическая компиляция бесплодных дат, а объяснение событий и философия фактов. И публикация "Fasti Hellenici" бросила на те времена, в которые точная хронологическая система может лучше всего исправить то, что не хватает, и лучше всего прояснить то, что неясно в скудных авторитетах, завещанных нам, весь свет глубокого и дисциплинированного интеллекта, применяющего самое острое понимание к самой богатой эрудиции и приходящего к своим выводам в соответствии с истинным духом индуктивного рассуждения, которое соразмеряет полноту окончательного открытия с осторожностью промежуточного процесса. Мои обязательства перед той образованностью и теми дарами, которые вы явили миру, разделяют все, кто в Англии или в Европе изучает историю или культивирует литературу Греции. Но в терпеливой доброте, с которой вы позволили мне консультироваться с вами во время утомительного прохождения этих томов через печать, в осторожных советах, в щедрой поддержке, которые так часто сглаживали путь и оживляли прогресс, есть обязательства, свойственные мне самому; и в

этих обязательствах есть так много того, что делает мне честь, что, если бы я рассказал о них подробнее, мир мог бы принять признание за хвастовство.

С глубочайшим уважением и почтением,  
Верьте мне, мой дорогой сэр,  
Искренне и с благодарностью ваш,  
ЭДВАРД ЛИТТОН БУЛВЕР  
Лондон, март 1837 года.

## РЕКЛАМА.

Работа, часть которой сейчас представлена читателю, занимала меня много лет - хотя часто прерывалась либо более активным занятием, либо литературными начинаниями более соблазнительного характера. Эти тома были не только написаны, но и фактически находились в руках издателя еще до появления и даже, как я полагаю, до объявления первого тома "Истории Греции" мистера Тирлуолла, иначе я мог бы отказаться от прохождения какой-либо части почвы, возделанной этим выдающимся ученым [1]. Однако план, которого я придерживаюсь, существенно отличается от плана мистера Тирлуолла, и я верю, что почва достаточно плодородна, чтобы дать урожай любому труженику.

Поскольку именно письма, в большей степени, чем оружие или институты Афин, прославили их, моей целью было объединить подробный обзор ее литературы с полным и беспристрастным отчетом о ее политических операциях. Два тома, опубликованные сейчас, знакомят читателя, в одной части моего предмета, с верховным правлением Перикла, а в другой - с критическим анализом трагедий Софокла. Я верю, что двух дополнительных томов будет достаточно, чтобы выполнить мою задачу и закрыть записи об Афинах в тот период, когда с воцарением Августа летописи мира слились в хронику Римской империи. В этих последних томах я намерен завершить историю афинской драмы, включить обзор афинской философии, описать нравы, привычки и общественную жизнь народа и завершить все это таким обзором фактов и событий, который может составить, возможно, беспристрастное и внятное объяснение причин возвышения и падения Афин.

Поскольку история греческих республик слишком часто подвергалась коррупции, чтобы служить горячим политическим приверженцам, позвольте мне проявить предосторожность и заметить, что, каков бы ни был мой собственный политический кодекс применительно к Англии, я нигде не пытался сознательно извратить уроки прошлого или аналогичного времени в угоду беглым интересам и партийным целям. Приходилось ли мне иногда порицать, а чаще оправдывать афинский народ, я не осознавал иного желания, кроме желания строгой, верной, беспристрастной справедливости. Беспокойно искать среди древних учреждений иллюстрации (редко подходящие) к современным - значит, действительно, отказаться от характера судьи в пользу адвоката и взять на себя задачу историка с амбициями памфлетиста. Хотя эта работа предназначена не для колледжей и монастырей, а для широкой и разношерстной публики, тем не менее нельзя обойти молчанием некоторые вопросы, которые, будучи сами по себе пустяковыми, приобрели достоинство и даже интерес благодаря блестящим рассуждениям или знаменитым спорам. В истории Греции (а афинская история обязательно включает в себя почти все, что есть ценного в летописях всей эллинской расы) читатель должен пройти через многое, что является незначительным, многое, что утомляет, если он хочет прийти, наконец, к определенным знаниям и всеобъемлющим взглядам. Чтобы, однако, как можно реже прерывать изложение событий, я постарался ограничить раннюю часть работы такими

деталю антикварного или спекулятивного характера, которые, хотя и могут дать широкому читателю не то чтобы подробный анализ, но, возможно, достаточное представление о схоластических изысканиях, занимавших внимание некоторых тончайших умов Германии и Англии, могут также лучше подготовить его к постижению особого характера и обстоятельств народа, с историей которого он знакомится: И, возможно, не лишним будет предупредить самых нетерпеливых, что только во второй книге (vol. i., p. 181), когда от изысканий переходит к повествованию. Остаются еще различные моменты, особые комментарии по которым были бы несовместимы со связной и популярной историей, но которые я предполагаю расширить в серии дополнительных примечаний, которые будут приложены к заключительному тому. В этих примечаниях также будут содержаться критические замечания и образцы греческих писателей, не настолько тесно связанных с прогрессом афинской литературы, чтобы требовать более подробного и обстоятельного изложения в основной части работы. Таким образом, когда работа будет завершена, я надеюсь, что эта книга будет сочетать в себе, наряду с полной и всесторонней историей Афин, политической и моральной, более обширное и всестороннее представление о сокровищах греческой литературы, чем то, которое еще было предоставлено английской публике. Я отважился на эти замечания, поскольку считал, что читатель не меньше, чем я сам, обязан объяснить план и набросок замысла, который в настоящее время разработан лишь частично.

Лондон, март 1837 года.

## СОДЕРЖАНИЕ.

### КНИГА I

#### ГЛАВА

I Положение и почва Аттики.- Пеласги ее самые ранние обитатели.- Их раса и язык сродни греческому.- Их различная цивилизация и архитектурные остатки.- Кекропс.- Были ли самые ранние цивилизаторы Греции иностранцами или греками?-Основание Афин.-Улучшения, приписываемые Сесропу.-Религия греков не может быть сведена к простой системе.-Ее влияние на их характер и мораль, искусство и поэзию.-Происхождение рабства и аристократии.

II Неважные последствия, которые можно вывести из признания того, что Кекропс мог быть египтянином.- Аттические цари до Тесея.- Эллины.- Их генеалогия.- Иониты и ахейцы пеласгические.- Контраст между дорийцами и ионийцами.- Амфикифонийская лига.

III Героическая эпоха.- Тесей.- Его законодательное влияние на Афины.- Качества греческих героев.- Влияние традиционной эпохи на характер народа.

IV Преемники Тесея.- Судьба Кодр.- Эмиграция Нила.- Архонты.- Драко.

V Общий обзор Греции и Востока до времени Солона.- Греческие колонии.- Острова.- Краткий рассказ о государствах на континенте.- Элида и Олимпийские игры.

VI Возвращение Гераклидов.- Спартанская конституция и обычаи.- Первая и вторая Мессенская война.

VII Правительства в Греции.

VIII Краткий обзор искусств, литературы и философии в Греции до законодательных актов Солона.

## КНИГА II

### ГЛАВА

I Заговор Килона.- Потеря Саламины.- Первое появление Солона.- Успех мегарцев в борьбе за Саламину.- Киррхайская война.- Эпименид.- Политическое состояние Афин.- Характер Солона.- Его законодательство.- Общий взгляд на афинскую конституцию.

II Отъезд Солона из Афин.- Возвышение Писистрата.- Возвращение Солона.- Его поведение и смерть.- Вторая и третья тирании Писистрата.- Взятие Сигеума.- Колония в Херсонесе, основанная первым Мильтиадом.- Смерть Писистрата.

III Правление Гиппия.- Заговор Гармодия и Аристоклитона.- Смерть Гиппарха.- Жестокости Гиппия.- Юный Мильтиад отправлен в Херсонес.- Спартанцы объединяются с Алкмеонидами против Гиппия.- Падение тирании.- Нововведения Клистена.- Его изгнание и восстановление.- Посольство к сатрапу Сардиса.- Ретроспективный взгляд на лидийскую, мидийскую и персидскую монархии.- Результаты афинского посольства в Сарды.- Поведение Клеомена.- Победа афинян над беотийцами и халкидянами.- Гиппий прибывает в Спарту.- Речь Сосикла Коринфского.- Гиппий удаляется в Сарды.

IV Гистиэй, тиран Милета, удаляется в Персию.- Управление городом поручается Аристагору, который с помощью персов вторгается на Наксос.- Успех экспедиции.- Аристагор решает восстать против персов.- Обращение в Спарту и Афины.- Афиняне и эретрийцы склоняются к помощи ионийцам.- Сожжение Сард.- Ионийская война.- Судьба Аристагора.- Морское сражение при Ладе.- Падение Милета.- Уменьшение Ионии.- Мильтиад.- Его характер.- Мардоний заменяет Артаферна в Лидийской сатрапии.- Вражда между Эгиной и Афинами.- Поведение Клеомена.- Демарат свергнут.- Смерть Клеомена.- Новая персидская экспедиция.

V Персидские генералы входят в Европу.- Вторжение на Наксос, Каристус, Эретрию.- Афиняне требуют помощи Спарты.- Результат их миссии и приключения их посланника.- Персы продвигаются к Марафону.- Описана равнина.- Разногласия в афинском лагере.- Советы Мильтиада берут верх.- Дреар Гиппия.- Битва при Марафоне.

## КНИГА III

### ГЛАВА

I Характер и популярность Мильтиада.- Морская экспедиция.- Осада Пароса.- Поведение Мильтиада.- Обвинение и приговор.- Его смерть.

II Афинская трагедия.- Ее происхождение.- Тезис.- Фриних.- Эсхил.- Анализ трагедий Эсхила.

III Аристид.- Его характер и положение.- Возвышение Фемистокла.- Аристид подвергается остракизму.- Остракизм рассмотрен.- Влияние Фемистокла возрастает.- Серебряные рудники Лавриона.- Их продукт применен Фемистоклом для увеличения флота.- Новое направление, данное национальному характеру.

IV Приготовления Дария.- Восстание Египта.- Спор о престолонаследии.- Смерть Дария.- Краткий обзор главных событий и особенностей его царствования.

V Ксеркс совершает экспедицию в Египет.- Он окончательно решается на вторжение в Грецию.- Обширные приготовления к завоеванию Европы.- Ксеркс прибывает в Сарды.- Отправляет посланников в греческие государства, требуя дани.- Мост через Геллеспонт.- Обзор персидского вооружения в Абидосе.- Ксеркс разбивает лагерь в Термах.

VI Поведение греков.- Оракул, относящийся к Саламину.- Искусство Фемистокла.- Истмийский конгресс.- Послания в Аргос, Крит, Корсиру и Сиракузы.- Их плохой успех.- Фессалийцы отправляют посланников на перешеек.- Греки продвигаются к Темпе, но отступают.- Флот отправлен в Артемисию, а Фермопильский перевал занят.- Численность греческого флота.- Битва при Фермопилах.

VII Советы Демарата Ксерксу. Фемистокл. Действия у Артемизиума. Греки отступают. Персы вторгаются в Дельфы и получают отпор с большими потерями. Афиняне без помощи союзников оставляют Афины и отправляются в Саламин.- Ловкость и твердость Фемистокла.- Битва при Саламине.- Андрос и Карыст осаждены греками.- Анекдоты о Фемистокле.- Почести, возданные ему в Спарте.- Ксеркс возвращается в Азию.- Олинф и Потидея осаждены Артабазом.- Афиняне возвращаются домой.- Остракизм Аристида отменен.

VIII Посольство Александра Македонского в Афины.- Результат его предложений.- Афиняне отступают к Саламину.- Мардоний занимает Афины.- Афиняне отправляют посланников в Спарту.- Павсаний сменяет Клеомброта на посту регента Спарты.- Битва при Платее.- Фивы осаждены афинянами.- Битва при Микале.- Осада Сестоса.- Окончание Персидской войны.

## КНИГА IV

### ГЛАВА

I Замечания о последствиях войны.- Состояние Афин.- Вмешательство Спарты в афинские укрепления.- Ловкое поведение Фемистокла.- Новая гавань Пирея.- Предложение спартанцев на Амфикинийском совете, отвергнутое Фемистоклом.- Союзный флот на Кипре и в Византии.- Павсаний.- Изменение его характера.- Его честлюбивые взгляды и измена.- Восстание ионийцев против спартанского командования.- Павсаний отозван.- Доркис заменяет его.- Афиняне становятся во главе Ионической лиги.- Делос становится сенатом и казначейством союзников.- Способное и благоразумное управление Аристида.- Кимон получает командование флотом.- Характер Кимона.- Эйон осажден.- Скирос колонизирован аттиками.- Предполагаемое открытие костей Тесея.- Уменьшение власти Фемистокла.- Демократические изменения в конституции.- Фемистокл подвергается остракизму.- Смерть Аристида.

II Популярность и политика Кимона.- Наксос восстает против Ионической лиги.- Осажден Кимоном.- Заговор и судьба Павсания.- Бегство и приключения Фемистокла.- Его смерть.

III Уменьшение Наксоса.- Действия у Кипра.- Намерения Кимона.- Улучшения в Афинах.- Колония на Девяти Путих.-Осада Тасоса.-Землетрясение в Спарте.-Восстание гелиотов, захват Итоме и третья Мессенская война.-Возрастание и характер Перикла.- Просвидетельство и оправдание Кимона.-Афиняне помогают спартанцам в Итоме.-Тасос сдается.-Разрыв между афинянами и спартанцами.-Конституционные нововведения в Афинах.-Остракизм Кимона.

IV Война между Мегарой и Коринфом.- Мегара и Пегея, гарнизоны афинянами.- Обзор дел при персидском дворе.- Вступление в должность Артаксеркса.- Восстание Египта при Инаре.- Афинская экспедиция на помощь Инару.- Эгина осаждена.- Коринфяне побеждены.- Заговор спартанцев с афинской олигархией.- Битва при Танагре.- Кампания и успехи Миронида.- Заговор олигархии против республики.- Отзыв Кимона.-Длинные стены завершены.-Эгина уменьшена.-Экспедиция под командованием Толмида.-Итома сдается.- Инсургенты поселены в Наупактусе.-Пагубное прекращение египетской экспедиции.- Афиняне идут в Фессалию, чтобы вернуть Оресту Тежу.-Кампания под руководством Перикла.-Пятилетнее соглашение с пелопоннесцами.-Кимон отплывает на Кипр.- Предполагаемый договор о мире с Персией.-Смерть Кимона.

V Изменение нравов в Афинах.- Началось при Писистратидах.- Последствия персидской войны и тесная связь с Ионией.- Хетеры.- Политическое положение, недавно приобретенное Афинами.- Перенос казны с Делоса в Афины.- Постоянные опасности и зло.- Во-первых, искусственное величие Афин, не подкрепленное естественной силой.- Во-вторых, ее пагубная зависимость от дани.- В-третьих, падение национального духа, начатое Кимоном в использовании взяток и общественных столов.- В-четвертых, недостатки в народных судах.- Прогресс общего образования.- История.- Ее ионийское происхождение.- Ранние историки.- Акусила.-Кадмус.-Евгеон.-Гелланик.-Ферекид.-Ксанф.-Взгляд на жизнь и труды Геродота.- Прогресс философии со времен Фалеса.-Философы ионийской и элеатской школ.-Пифагор.- Его философские догматы и политическое влияние.-Влияние этих философов на Афины.- Школа политической философии продолжалась в Афинах со времен Солона.-Анаксагор.- Архелай.-Философия не была чем-то отдельным от обычной жизни афинян.

## КНИГА V

### ГЛАВА

I Фукидид, выбранный аристократической партией для противостояния Периклу.- Его политика.- Значение Перикла.- Священная война.- Битва при Коронее.- Восстание Эвбеи и Мегары- Вторжение и отступление пелопоннесцев.- Уменьшение Эвбеи.- Наказание Гистиеи.- Тридцатилетнее перемирие, заключенное с пелопоннесцами.- Остракизм Фукидида.

II Причины могущества Перикла.- Судебные инстанции зависимых союзников переведены в Афины.- Очерк афинских доходов.- Общественные здания - дело рук народа, а не Перикла.- Пороки и величие Афин имели одни и те же источники.- Принцип оплаты характеризует политику этого периода.- Это политика цивилизации.- Колонизация, Клерухия.

III Пересмотр переписи населения.- Самианская война.- Очерк подъема и развития афинской комедии до времен Аристофана.

IV Трагедии Софокла.

## АФИНЫ: ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ

### КНИГА I.

#### ГЛАВА I.

Положение и почва Аттики.- Пеласги - самые ранние ее обитатели.- Их раса и язык сродни греческому.- Их различная цивилизация и архитектурные остатки.- Кекропы.- Были ли самые ранние цивилизаторы Греции иностранцами или греками?-Основание Афин.-Улучшения, приписываемые Кекропсу.-Религия греков не может быть сведена к простой системе.-Ее влияние на характер и мораль, искусство и поэзию.-Происхождение рабства и аристократии.

I. Оправдать память афинского народа, не скрывая ошибок афинских учреждений, и, повествуя о триумфах и поражениях, величии и упадке самого выдающегося из древних государств, описать причины ее нетленного влияния на человечество, не только в политических переменах или удачах колеблющихся войн, но и в искусствах, письме и общественных привычках, которые являются равными элементами в истории народа;-Вот цель, которую я ставлю перед собой; я не откажусь от многолетнего труда, если он послужит избавлению от некоторых партийных заблуждений и распространению через более широкий круг знаний, которые еще завещаны нам о времени и земле, плодородных в величественных примерах и торжественных предупреждениях, освященных неумирающими именами и памятными делами.

II. В той части земли, которую греки называли Элладой, а римляне - Грецией [2], небольшой участок суши, известный под названием Аттика, вдается в Эгейское море - юго-восточный полуостров Греции. Ее наибольшая длина составляет около шестидесяти, а наибольшая ширина - около двадцати четырех географических миль. По форме это грубый треугольник - с двух сторон в него впадает море, с третьей - горный хребет Парнес и Китаэрон отделяет Аттику от Беотии. Она пересекается частыми, но не высокими холмами, и, по сравнению с остальной Грецией, ее почва, хотя и благоприятна для роста оливы, не плодородна и не обильна. Несмотря на болезненную и тщательную культуру, следы которой еще видны, она никогда не производила достаточного количества кукурузы, чтобы обеспечить население; и это, сравнительное бесплодие земли, можно отнести к причинам, которые способствовали величию народа. Главные горы Аттики - Сунийский мыс, Гиметт, известный своим медом, и Пентелик, славящийся своим мрамором; главные потоки, орошающие долины, - капризные и неуверенные речушки Цефис и Илисс [3], - потоки, разбивающиеся на мелкие ручейки, восхитительно чистые и прозрачные. Воздух безмятежен, климат здоров, времена года умеренны. Вдоль холмов еще дышит дикий тимьян и пахучие растения, которые, повсеместно распространенные в Греции, особенно благоухают под этим ясным небом; и все еще атмосфера окрашивает особыми и разнообразными оттенками мрамор существующих храмов и лица горных пейзажей.

III. Я сразу же отвергаю все попытки проникнуть в бездонную неизвестность ради праздного интереса. Я не берусь выяснять, был ли Яван первым поселенцем в Аттике после разрушения

Вавилона, и не в моих трудах решить торжественный спор о том, был ли Огигес современником Иакова или Моисея. Я также не стану соблазнять себя на длительное рассмотрение тех споров, столь любопытных и столь неубедительных, относительно происхождения пеласгов (согласно Геродоту, самых ранних жителей Аттики), которые напрасно будоражат ученых. Антиквара может развлечь взвешивание нескольких сомнений относительно происхождения их имени от Пеласга или от Пелега, соединение разрозненных фрагментов традиций и интерпретация языка сказочных генеалогий то ли в историю, то ли в мифологию. Но наши самые тонкие гипотезы могут возвести лишь ткань сомнений, которую хотя и заманчиво штурмовать, но бесполезно защищать. Все, что мне кажется необходимым сказать о пеласгах, сводится к следующему: - Они являются самой ранней расой, которая, как представляется, осуществляла доминирующую власть в Греции. Их царей можно проследить по традиции до времени, задолго до зафиксированной генеалогии любого другого племени, а Инах, отец пеласга Форонея, - это всего лишь другое имя для самой отдаленной эпохи, к которой может восходить греческая хронология [4]. Вопрос о том, были ли пеласги в древности иноземным или греческим племенем, был предметом постоянных и знаменитых дискуссий. Геродот, говоря о некоторых поселениях, считавшихся пеласгами и существовавших в его время, называет их язык "варварским"; но Мюллер, не имея достаточных аргументов, считает, что это выражение историка относится только к своеобразному диалекту; гипотеза подтверждается другим отрывком из Геродота, в котором он применяет к некоторым ионийским диалектам тот же термин, которым он клеймит язык пеласгийских поселений. В подтверждение мнения Мюллера можно также заметить, что "варварский язык" - эпитет, примененный Гомером к карийцам, и справедливо истолкованный древними критиками как обозначающий смешанный и неотшлифованный диалект, конечно, не иностранный. Когда Агамемнон Софокла упрекает Тевсера за "его варварский язык", [6] никто из ученых не подумает, что Тевсера упрекают в том, что он не говорит по-гречески; его упрекают в том, что он говорит по-гречески неэлегантным и грубым образом. Понятно, что те, кто продолжает с наименьшими искажениями язык в его самой ранней форме, будут казаться произносящими странный и незнакомый жаргон для ушей, привыкших к его более современной конструкции. И, несомненно, если бы мы встретили племя, сохранившее английский язык XIII века, язык наших предков был бы для большинства из нас непонятен и казался бы многим из нас чужим. Но как бы ни интерпретировать фразу Геродота, все равно будет крайне сомнительно, что поселения, о которых он говорит, действительно и изначально были пеласгами, и еще более сомнительно, что, будучи пеласгами, они сохранили в неизменном виде и без изменений язык своих предков. Поэтому я не придаю никакого значения выражению Геродота. Напротив, я склонен верить, вместе с более выдающимися английскими учеными, что язык пеласгов содержал по крайней мере элементы того, который мы признаем греческим; и из многих аргументов я выбираю следующие:

1-е. Потому что в тех государствах, которые, как мы знаем, были заселены пеласгами (Аркадия и Аттика) и откуда население не было изгнано новыми племенами, язык кажется не менее греческим, чем в тех государствах, из которых пеласги были изгнаны раньше всего. Если бы они говорили на совершенно ином языке, чем более поздние поселенцы, я полагаю, что некоторые недвусмысленные следы этого различия были бы заметны даже в исторические времена.

Во-вторых. Потому что эллины описаны как немногочисленные вначале, их продвижение медленное, они покоряются, но не истребляются; в таких завоеваниях - завоеваниях немногих, поселившихся среди многих, - язык многих сохраняется до последнего; язык немногих может повлиять, обогатить или испортить, но никогда не уничтожить его.

В-третьих. Потому что все, что от греческого языка проникает в латинский [7], мы можем приписать только пеласгическим колонизаторам Италии. В этом согласны все древние писатели, греческие и латинские. Несколько слов, переданных нам как пеласгические, выдают греческие черты, а в Ламине Борджианы (ныне хранящейся в Борджианской коллекции Неаполя и обнаруженной в 1783 году) есть надпись, относящаяся к сикулам или сиканам, народу, изгнанному из своих итальянских поселений до известной даты Троянской войны, характер которой - пеласгический, а язык - греческий.

IV. О моральном состоянии пеласгов наши сведения несовершенны и противоречивы. Они были не мелкой ордой, а огромной расой, несомненно, разделенной, как и всякий мигрирующий народ, на многочисленные племена, различающиеся по рангу, по уровню цивилизации [8] и по многим особенностям характера. В одной стране пеласги могут быть пастухами или дикарями; в другой, в ту же эпоху, они могут предстать собранными в города и занимающимися искусством. История Востока сообщает нам, с какой поразительной быстротой бродячее племя, однажды осев, обретало славу и могущество; лагерь сегодняшнего дня - город завтрашнего дня, а "обитатели пустыни ставят башни и дворцы свои". [9] Так, если в Греции этот загадочный народ часто представляют как аборигенную расу, получившую от финикийских и египетских поселенцев первобытные блага социальной жизни, то в Италии мы видим их усовершенствователями сельского хозяйства [10] и первыми учителями письма. [11]

Еще до традиционного появления Кекропса среди дикарей Аттики пеласги в Аркадии, вероятно, перешли от пастушеской к гражданской жизни; именно эту дату Павсаний приписывает основанию той родовой Ликосуры, в грубых остатках которой (у живого фонтана и развесистых дубов современной Диапорты) антиквар все еще прослеживает укрепления "первого города, который видело солнце". [12] Именно в своих зданиях пеласги оставили самые неоспоримые свидетельства своего имени. Их почерк еще сохранился на стенах! Беспокойный и разнообразный народ - он пересекал всю Грецию, встречался на севере в Дакии, Иллирии и стране гетов, колонизировал побережье Ионии и долгое время был хозяином самых прекрасных земель Италии, - он сгинул среди революций старшей Земли, его родословная и потомки неизвестны; но не последний, если мои выводы справедливы: если первобытное население Греции - сами греки, основавшие язык и родственные по крови более поздним и прославленным эллинам, - все же составляли большую часть народа в различных государствах и в их самый блистательный век: Порабощенные в Лаконии, но свободные в Афинах, именно их потомки сражались с медянами при Марафоне и Платее, их вел Мильтиад, для них издавал законы Солон, для них размышлял Платон, их толкал Демосфен. Не в меньшей степени в Италии, чем в Греции, родители нетленного языка и, отчасти, прародители славной расы, мы все еще можем найти тусклые следы их существования везде, где процветала классическая цивилизация, где дышал классический гений. Если в латинском, если в греческом языке еще сохранились неизгладимые следы языка пеласгов, то литература древнего, почти современного мира - это их истинный потомок!

V. Несмотря на смутное представление (упоминаемое Платоном) о далекой и погибшей эпохе цивилизации, наиболее популярная традиция утверждает, что пеласги, населявшие Аттику, были погружены в глубочайшее невежество относительно элементов общественной жизни, когда, как обычно предполагают, либо из Саиса, египетского города, либо из Саиса, провинции в Верхнем Египте, египтянин, охарактеризованный потомками по имени Сесропс, как говорят, перешел в Аттику с группой авантюрных эмигрантов.

Традиция об этой египетской иммиграции в Аттику долгое время была негласно принята. Недавно смелый скептицизм немецких ученых - всегда эрудированных, хотя иногда и опрометчивых - убедил нас в опасности, которой мы подвергаемся, делая исторические выводы из времен, до которых не могут подняться никакие исторические исследования. Доказательства, на которых основывается предполагаемое прибытие египетских колонизаторов под командованием Кекропса в Аттику, были показаны слабыми - авторитеты для утверждения сравнительно современными - аргументы против вероятности такой иммиграции в такую эпоху, по крайней мере, правдоподобными и важными. Не удовлетворившись, однако, сведением к неопределенности предположений того, что неосторожно было признано фактом, нападающие на египетское происхождение Сескропс слишком рассчитывают на свою победу, когда требуют, чтобы мы приняли в качестве контрфакта то, что может быть, в конце концов, лишь контрпредположением. Для меня, беспристрастно взвешивающего аргументы и утверждения обеих сторон, народная традиция о Сескропсе и его колонии представляется такой, которую нельзя ни молчаливо принять за историю, ни презрительно отвергнуть как выдумку. Это был бы, однако, легкомысленный спор, был ли Секропс египтянином или аттиком, поскольку никакая эрудиция не может установить, что Секропс когда-либо существовал, если бы он не был связан со спором некоторой философской важности, а именно: были ли ранние цивилизаторы Греции иностранцами или греками, и помогали ли египтяне в особенности обучать предков расы, которые стали учителями и образцами мира, в элементах религии, управления и искусства.

Не вдаваясь в тщетные и бесполезные рассуждения, почерпнутые из разрозненных отрывков некоторых ранних писателей, из двусмысленного молчания других - и, прежде всего, из мечтаний об этимологической аналогии или мифологической басне, - я считаю, что самыми первыми цивилизаторами Греции были иностранные поселенцы; выводя свое убеждение из наблюдений здравого смысла, а не из неясных и неудовлетворительных исследований. Я верю в это,

Во-первых, потому что что может быть более вероятным, чем то, что в очень ранние периоды более развитые народы Востока имели связь с греческим континентом и островами? Что может быть более вероятным, чем то, что морские и странствующие финикийцы вошли в моря Греции и были соблазнены равнинами, которые обещали изобилие, и горами, которые давали возможность укрыться? Обладая более высокой цивилизацией, чем найденные ими орды, они встретили бы скорее почитание, чем сопротивление, и, таким образом, поселение было бы получено незначительным числом, скорее по праву разведки, чем завоевания.

Но, хотя с этим можно согласиться в отношении финикийцев, утверждается, что египтяне, по крайней мере, не были морским или колонизаторским народом: и нас серьезно уверяют, что в те далекие времена ни одно египетское судно не заходило в греческие моря. Но о самых отдаленных эпохах египетской цивилизации мы знаем очень мало. На их самых ранних памятниках (теперь уже книгах!) мы находим изображения морских и военных сражений, в которых, очевидно, участвуют морские суда. Согласно их собственным традициям, в далекие времена они занимались колонизацией. Они сами претендовали на Данаю: а миф об экспедиции Осириса небезосновательно истолковывается как образное представление распространения египетской цивилизации с помощью колоний. Кроме того, Египет не раз подвергался революциям, в результате которых значительная часть его населения была изгнана с земли и рассеяна по соседним регионам [13]. И даже если допустить, что египтяне не снаряжали морских экспедиций, они легко могли пересадить себя на финикийские корабли или греческие плоты - из Азии в Грецию. Нельзя также забывать, что Египет [14]

некоторое время был местом жительства, а Фивы - владением финикийцев, и отсюда, возможно, происходят споры о том, были ли некоторые из первых иностранных цивилизаторов Греции финикийцами или египтянами: Поселенцы могли прибыть из Египта и быть по добыче финикийцами: или египетские эмигранты вполне могли сопровождать финикийцев. [15]

Во-вторых. По свидетельству всей истории, дикие племена, похоже, обязаны своим первым просвещением иностранцам: чтобы стать цивилизованными, они завоевывают или их завоевывают - посещают или их посещают. Я не пытаюсь объяснить факт, который содержит столь поразительную загадку. Я нахожу в истории всех других частей света, что именно колонизатор или завоеватель выводит племя, не колонизирующее и не завоевывающее, из состояния дикости, и я не отвергаю столь вероятную гипотезу для Греции.

В-третьих. Я обращаюсь к различным аргументам местного или специального характера, которыми можно подкрепить эти общие вероятности, и нахожу их необычайно сильными: я бросаю взгляд на карту Греции и вижу, что эти восточные колонии, как говорят, были основаны почти неизменно на восточной стороне: Я обращаюсь к хронологии и обнаруживаю, что революции на Востоке совпадают по аккредитованной дате с традиционными иммиграциями в Грецию: Я обращаюсь к истории греков, и я нахожу, что сами греки (народ, который больше всех других тщеславится своим исконным происхождением и презирает иностранные расы) согласны с общим мнением о своих обязательствах перед иностранными поселенцами; И поэтому (без дополнительных, но сомнительных аргументов в виде мнимых следов восточных, египетских, финикийских обрядов и басен в религии или легендах Греции в ее отдаленную эпоху) я вижу достаточно оснований для того, чтобы склониться к менее современному, но просто популярному мнению, которое приписывает ранним цивилизаторам Греции иностранное происхождение: Не убеждают меня и рассуждения тех, кто исключает египтян из списка этих первобытных благодетелей.

Признавая, что ни одна гипотеза не является более вероятной, чем гипотеза о том, что самые ранние цивилизаторы Греции были иностранцами и могли быть египтянами, я не признаю достаточных оснований для того, чтобы отвергнуть аттические традиции, утверждающие, что египетские цивилизаторы пришли на аттическую землю, в аргументах, основанных на том, что такие традиции, не упоминаемые более древними, были собраны более современными греческими писателями или на правдоподобных предположениях относительно привычек египтян в ту раннюю эпоху. Был ли Сесроп первым - и был ли он вообще одним из этих цивилизаторов, - это спор, недостойный философских исследователей [16]. Но ко времени Хекропса относят, как те, кто отстаивает его египетское, так и те, кто утверждает его аттическое происхождение, некоторые достижения от варварства и некоторые новшества в обычаях, которые были бы естественны для иностранца и почти чудесны для туземца, Я сомневаюсь, не будет ли нашей более мудрой и осторожной политикой оставить в покое давно укоренившиеся догадки, а не подписываться под аргументами, которые, какими бы поразительными и изобретательными они ни были, не только не подкрепляют ни одной неопровержимой гипотезы, но и не приводят ни к какому важному результату". [17]

VI. Если Кекропс действительно был вождем египетской колонии, более чем вероятно, что он получил владение Аттикой не только силой. Для диких и варварских племен первое появление людей, чьи механические изобретения, чье превосходное знание жизненных искусств, а также чьи внешние достоинства одежды и внешности [18] указывают на интеллектуальное превосходство, до тех пор не известное и не воображаемое, представляет собой нечто сверхъестественное и божественное. Воображение диких жителей

соблазняется, их суеверия пробуждаются, и они покоряются учителю, а не захватчику. Вероятно, таким образом Кекропс со своими колонистами занял бы аттическую равнину, скорее примилив, чем покорив ее жителей, и объединив в себе двойную власть, которой пользовались первобытные вожди: достоинство законодателя и святость жреца. Очевидно, что никто из иноземных поселенцев не привел с собой многочисленную дружину. Предания говорят о них с благодарностью как о цивилизаторах, а не с ненавистью как о завоевателях. Они не оставили никаких следов в установлении языка - доказательство их малочисленности и мягкого влияния: финикиец Кадм, египтянин Кекропс, фригиец Пелопс не ввели ни одного отдельного и чуждого языка. Помогая цивилизовать греков, они затем стали греками; их потомство слилось и затерялось среди туземного населения.

VII. Возможно, во всех странах первым шагом к социальному улучшению является институт брака, а вторым - образование городов. Как Менес в Египте, как Фохи в Китае, так и Цекропс в Афинах, как говорят, первым свел в священные рамки нерегулярное общение полов [19] и избавил своих варварских подданных от бродячей и бескормицы, живущих за счет самопроизвольных продуктов не слишком обильной почвы. Высоко над равниной и перед морем, которое на расстоянии около трех миль с той стороны вдается в бухту, особенно приспособленную для морских предприятий прежней эпохи, мы все еще видим растрескавшуюся и почти перпендикулярную скалу. В длину ее поверхность составляет около восьмисот, в ширину - около четырехсот футов [20]. Внизу, по обе стороны, текут бессмертные потоки Иллисса и Цефиса. С ее вершины видны горы Гиметт, Пентелик и, вдали, "сереброносный Лауриум"; внизу - широкая равнина Аттики, разбитая скалистыми холмами; там - острова Саламис и Эгина с противоположными берегами Арголитиды, возвышающейся над водами Саронического залива. На этой скале предполагаемый египтянин, как говорят, построил крепость и основал город [21]; крепость в более поздние времена называли Акрополем, а само место, когда под его основанием далеко и широко раскинулись здания Афин, все еще обозначалось как полис, или ГОРОД. Постепенно, как нам рассказывают, он расширил пределы своего царства от этой неприступной крепости и прилегающей к ней равнины, пока оно не включило в себя всю Аттику и, возможно, Беотию [22]. Рассказывают также, что он основал еще одиннадцать городов или хуторов и разделил свой народ на двенадцать племен, каждому из которых был выделен один из городов - крепость против иноземного вторжения и судебная инстанция для решения гражданских споров.

Если мы можем доверять мерцающему свету, который, покоясь на мгновение, неопределенный и смущенный, на правлении Хекропса, поглощается во тьме басни во время правления его предполагаемых преемников, то именно к этому апокрифическому человеку мы должны отнести элементы как сельского хозяйства, так и права. Говорят, что он научил афинян обрабатывать землю и следить за урожаем по сезонам; привез из Египта оливковое дерево, которым впоследствии так славилась аттическая земля, и даже плавал на Сицилию и в Африку за поставками кукурузы. То, что такие успехи от первобытного и дикого состояния были достигнуты не за одно поколение, достаточно очевидно. С большей долей вероятности можно утверждать, что Кекропс наложил на невежество своих подданных и свободолюбие своих последователей ограничение беспристрастного закона и основал трибунал правосудия (несомненно, единственный для всех споров), в котором в последующие времена предполагалось проследить происхождение торжественного Ареопага.

VIII. Переходя от этих сомнительных рассуждений о детальных улучшениях, произведенных Кекропсом в общественной жизни аттического народа, я перейду к рассмотрению двух предметов, гораздо более важных. Первый - это религия афинян, как и всей Греции, а второй - происхождение института рабства.

Происхождение религии во всех странах - это вопрос, представляющий глубочайший интерес и имеющий самые туманные результаты. Ибо желание благочестивых проследить во всех верованиях принципы того, которое они сами исповедуют, тщеславие ученых продемонстрировать разнообразную и неординарную эрудицию, страсть гениальных согласовать противоречивые традиции и амбиции каждого спекулянта сказать что-то новое по древней, но неисчерпаемой теме, далеко не просветляют, а лишь озадачивают наши догадки. Не успевает утвердиться сегодняшняя теория, как в противовес ей изобретается теория завтрашнего дня. Для одного религия греков - это всего лишь тип таинств евреев, события потопа и сохранения ковчега; для другого - это полностью вкрапление метафизических торжеств египтян; то это хитрый прием жрецов, то мудрое изобретение мудрецов. Не лишним будет сказать, что после самых глубоких трудов и самых правдоподобных предположений современности мы остаемся еще более неопределенными и запутанными, чем были раньше. Это мрачная гордость каждой языческой мифологии, как одного из самых древних языческих божеств, что "никто из смертных не приподнял его завесу!"

Итак, после нескольких кратких и предварительных замечаний, направленных на выдвижение таких гипотез, которые кажутся мне наиболее вероятными и простыми, я поспешу перейти от бесполезных исследований Неизвестного к полезным выводам из того, что дано нашему исследованию, - словом, от происхождения греческой религии до ее влияния и последствий; первое - удел антиквара и спекулянта; последнее - историка и практического философа.

IX. Когда Геродот сообщает нам, что Египет передал Греции имена почти всех ее божеств, и что его исследования убедили его в том, что они были варварского происхождения, он исключает из списка египетских божеств Нептуна, Диоскуров, Юнону, Весту, Фемиду, Граций и Нереид [23]. Из Африки, согласно Геродоту, прибыл Нептун, из Пеласгии - остальные божества, от которых отказался Египет. Согласно тому же авторитету, пеласги переняли у египтян не свои божества, а их имена (и то в более поздний период) [24]. Но пеласги были первыми известными жителями Греции - первые известные жители Греции имели свои особые божества, следовательно, до всякого общения с Египтом. В остальном мы должны принимать рассказ простодушного и доверчивого Геродота со значительной осторожностью и сдержанностью. Нет ничего более естественного - возможно, более определенного - чем то, что каждое племя [25], даже совершенно дикое, изобретет несколько собственных божеств; и так как эти божества будут столь же естественно взяты из внешних объектов, общих для всего человечества, таких как солнце или луна, воды или земля, и наделены атрибутами, сформированными из страстей и впечатлений, не менее универсальных; так и божества каждого племени будут иметь что-то родственное друг другу, хотя сами племена, возможно, никогда не вступали в контакт или общение.

Мифология ранних греков, возможно, берет начало из следующих основных источников: во-первых, поклонение природным объектам; и из сформированных таким образом божеств наиболее однозначно национальными, очевидно, будут те, которые наиболее связаны с образом жизни и влиянием климата. Когда дикарь впервые ввергает семя в лоно земли - когда, благодаря странному и непостижимому процессу, он видит, как то, что он закопал в один сезон, приносит урожай в следующий - сама ЗЕМЛЯ, таинственное хранилище, благосклонный, но иногда капризный воспроизводитель сокровищ, переданных в его распоряжение, становится объектом удивления, надежды и страха, которые являются естественным источником поклонения и молитвы. Опять же, когда он обнаруживает влияние небес на рост своего труда - когда, наученный опытом, он признает их силу взрывать или

смягчать - тогда, в результате того же процесса идей, НЕБО также принимает характер божества и становится новым агентом, чей гнев должен быть умиловлен, чье расположение должно быть завоевано. То, что подсказывает нам здравый смысл, подтверждают наши исследования, и мы приходим к выводу, что Земля и Небо - самые ранние божества земледельческих пеласгов. Как Нил для полей египтянина - земля и небо для культуры грека. Влияние Солнца на человеческий труд и человеческие удовольствия настолько ощутимо для самого простого понимания, что мы не можем удивляться, обнаружив это славное светило среди самых популярных божеств древних народов. Зачем искать на Востоке, чтобы объяснить, почему ему поклоняются в Греции? Легче предположить, что жители земли, которой солнце особенно благоволило, видели и благословляли его, ибо оно было хорошим, чем, среди бесчисленных противоречий и экстравагантных предположений, решать, на каком отдаленном берегу было пересажено божество, чье влияние было столь благотворным, чье поклонение было столь естественным для греков. И в этом более простом убеждении нас также поддерживают более здравые выводы, сделанные в процессе обучения. Ведь заметно, что ни луна, ни звезды - любимые божества тех, кто наслаждался безмятежными ночами или обитал на широких равнинах Востока, - не почитались (хотя, возможно, и допускались среди пеласгийских божеств) с тем интенсивным и благоговейным поклонением, которое было им присуще в Азии и Египте. Для пеласгов, еще не достигших интеллектуальной стадии философского созерцания, наиболее ощутимые объекты влияния были предметом самого искреннего поклонения. То, чем для Востока были звезды, для ранних греков была их собственная прекрасная Аврора, пробуждающая в них восторг от их мягкого и умеренного климата.

Из божеств, созданных таким образом из внешних объектов, некоторые возникнут (если можно так выразиться) в результате естественной случайности и местных обстоятельств. Землетрясение связывает божество с землей, наводнение - с рекой или морем. Греческая земля несет на себе следы морской революции; многие племена были поселены вдоль побережья и, возможно, уже плавали на своих плотах по морю. Морское божество (без какого-либо необходимого откровения из Африки), таким образом, является одним из самых ранних греческих богов. Атрибуты каждого божества зависят от занятий и рода деятельности поклоняющихся ему людей: кровожадные - от воинственных, кроткие - от мирных. Пастушеские пеласги Аркадии почитали пастушеского Пана за много веков до того, как он был принят их пеласгическим братством в Аттике. А земледельческая Деметра или Церера будет узнана среди многих племен земледельческих пеласгов, которые, как считается, ни один египтянин не посещал, даже по преданию [26].

Истоки молитвы лежат в чувстве зависимости и в инстинкте самосохранения или собственной выгоды. Первыми объектами молитвы для младенца будут те, от которых, по его мнению, он больше всего зависит в плане благословений, которых больше всего жаждет его образ жизни, или от которых может исходить опасность, которую инстинкт научит его больше всего опасаться и бояться. Именно эта очевидная истина разрушает все эрудированные системы, которые бы отнесли различные верования язычников к какому-то единому происхождению. Пока земля не станет одинаковой в каждом регионе, пока одни и те же обстоятельства не будут окружать каждое племя, разные впечатления в народах, еще не обращенных и нецивилизованных, будут порождать разных божеств. Природа предлагает Бога, а человек наделяет его атрибутами. Природа и человек, одинаковые в целом, различаются в деталях; одна не везде предлагает одни и те же понятия, другой не везде может представить одни и те же атрибуты. Как и у других племен, так и у пеласгов или первобытных греков, их ранние боги были порождениями их собственных ранних впечатлений.

Как один источник религии находился во внешних объектах, так другой можно найти во внутренних ощущениях и эмоциях. Страсти настолько сильны в своем воздействии на людей и народы, что мы не можем не удивляться тому, что эти воздействия приписываются подстрекательству и влиянию сверхъестественного существа. Любовь индивидуализирована и персонифицирована почти во всех мифологиях; поэтому она относится к числу самых ранних греческих богов. Страх или ужас, чье влияние часто бывает столь странным, внезапным и необъяснимым - захватывающим даже самых храбрых, распространяющимся по рядам со всей быстротой электрической симпатии и решающим в одно мгновение судьбу армии или гибель племени, - еще одна из тех страстей, которые легко принять за влияние некой сверхъестественной силы и, следовательно, легко поддаются персонификации. А гордость людей, особенно если они привычно мужественны и воинственны, с радостью поддается легковерию, которое укрывает унижительную и незаслуженную немощь под властью высшего существа. ТЕРРОР, таким образом, обрел форму и нашел себе алтарь, вероятно, уже в героическую эпоху. Согласно Плутарху, Тесей принес жертву Террору перед битвой с амазонками - пустой рассказ, правда, но доказывающий, возможно, древность традиции. По мере того как общество выходило из варварства, возникали более интеллектуальные творения - строились города, а в постоянном потоке и переливе воинственных племен города низвергались, - элементы социального государства обрастали персонификациями, которым приписывалось влияние и оказывалось почтение. Так были закреплены в божественности и форме Порядок, Мир, Справедливость, а также суровый и мрачный ОРКОС [27], свидетель клятвы, мститель за лжесвидетельство.

Этот второй источник религии, хотя и более тонкий и изысканный в своих творениях, все же имел своим источником те же человеческие причины, что и первый, а именно: предвкушение добра и предчувствие зла. Из созданных таким образом божеств многие, однако, были изобретениями поэтов - (поэтическая метафора является плодотворной матерью мифологической басни) - многие также были изящными изысками последующей эпохи. Но некоторые (и почти все, которые я перечислил) можно отнести к самому раннему периоду, к которому могут восходить подобные исследования. Очевидно, что самые древние из них будут связаны со страстями, а более современные - с интеллектом.

Мне кажется очевидным, что почти одновременно с божествами этих двух классов возникнет более многочисленный и влиятельный класс личных божеств, который постепенно превратится в героическую династию Олимпа. Ассоциации, которые одно племя или одно поколение связывало с небом, землей или солнцем, другое, очевидно, могло соединить или спутать с духом или гением, обитающим или влияющим на элемент или физический объект, который вызывал их беспокойство или благоговение: И, таким образом, то, что одно племя или поколение может приписать одному олицетворению страсти, способности или морального и социального принципа, другое столь же естественно отнесет к личному и более сложному божеству: то, что в одном случае формирует саму природу высшего существа, в другом образует лишь атрибут - увеличивает силу и усиливает характер Юпитера, Марса, Венеры или Пана. В природе человека заложено, что личные божества, однажды созданные и обожаемые, должны представлять его воображению более яркие и убедительные образы, чем абстрактные олицетворения физических объектов и моральных впечатлений. Таким образом, божества этого класса постепенно возвысились бы над более туманными и бесплотными, и (хотя я не решаю таким образом загадку древних теогоний) семейство Юпитера вряд ли могло бы не завладеть теньевыми тронами прародительской Земли и первобытного Неба.

Третьим источником греческой, как и всех других мифологий, было поклонение людям, которые реально существовали или должны были существовать. Ибо в этом отношении в календарь героев могли вкрасться ошибки, как это произошло с календарем святых (героизм современников), который канонизировал множество имен, владельцев которых невозможно найти. Это было, вероятно, самое позднее, но, возможно, в последующие времена самое влиятельное и популярное дополнение к вере аборигенов. Когда поклонение мертвецам было установлено, для народа, привыкшего к восприятию и усвоению религиозных впечатлений, было естественно представить, что даже их первичные боги, впервые сформированные на основе естественных впечатлений (и, тем более, божества, заимствованные ими из чужих верований), должны были ходить по земле. И таким образом, в философские века даже самые возвышенные обитатели Олимпиады смутно предполагали, что знали человечество; их бессмертие было лишь апофеозом благодетеля или героя.

Х. У пеласгов, таким образом, были свои родные или исконные божества (различающиеся по числу и атрибутам у каждого племени), и на них покоится основа греческой мифологии. Им не требовалась египетская мудрость, чтобы заставить их поверить в высшие силы. Природа была их первобытным учителем. Но по мере того как открывались сношения с Востоком из противоположной Азии, с Севером из соседней Фракии, новые божества пересаживались, а старые получали дополнительные атрибуты и отличия, в зависимости от того, как фантазия чужеземца находила их сходство с божествами, которых он привык обожать. Мне кажется, что в Сатурне мы можем проследить популярное финикийское божество, а во фракийском Марсе - свирепого бога войны Севера. Но мы вряд ли можем быть слишком осторожны, позволяя себе поддаваться влиянию сходства, каким бы сильным оно ни было, между греческим и чужеземным божеством. Такое сходство может быть не только сформировано сравнительно современными нововведениями, но и либо сведено к тому общему сходству, которое один политеизм всегда проявляет по отношению к другому, либо возникнуть в результате принятия новых атрибутов и странных традиций; таким образом, само божество может быть родным и исконным, в то же время вызывая недоумение у исследователя значительным сходством с другими богами, от верующих которых родное поклонение получило лишь эпитет, церемонию, символ или басню. И эта необходимость осторожности особенно ярко проявляется в противоречиях, которые каждый ученый, увлеченный какой-либо системой, дает трудам предшествовавшего ему спекулянта. То, что один исследователь считает египетским, другой утверждает, что финикийским; третий приносит с севера; четвертый - от евреев; а пятый, с еще более диким воображением, - из далеких и тогда еще не исследованных пещер и лесов Индии. Примите здравый смысл в качестве нашего проводника, и противоречия станут менее непримиримыми, а тайна - менее непонятной. В божестве, по сути, греческом, финикийский колонист может обнаружить нечто знакомое и заявить, что это бог предков. Он привносит в туземное божество некоторые финикийские черты, его сменяет египтянин или азиат - он обнаруживает сходство, вводит аналогичные новшества. Живой грек получает, объединяет, присваивает все: но исконное божество не становится от этого менее греческим. Каждый спекулянт может быть одинаково прав, устанавливая частичное сходство, именно потому, что все спекулянты ошибаются, утверждая полную идентичность.

Из приведенных выше рассуждений следует, что религия Греции была гораздо менее единообразной, чем принято считать; во-первых, потому, что каждое отдельное государство или кантон имело свое собственное божество; во-вторых, потому, что при заграничном распространении новых богов каждый чужеземец особенно ввозил то божество, которое у себя на родине он особенно почитал. Таким образом, у каждого государства был свой бог-покровитель - основатель его величия, хранитель его славы. Даже на маленькой и

ограниченной территории Аттики у каждого племени, независимо от общественного культа, были свои божества, почитаемые по особым обрядам.

Божество, о котором говорит Цекропс, - это Нейт, или, правильнее, Наит [28] - богиня Саиса, в которой мы узнаем Афину, или Минерву греков. Я опускаю как явную нелепость любые аналогии имен, в которых буквы, составляющие слово Кит, перевернуты в слове Афина. Идентичность этих двух богинь должна опираться на гораздо более веские доказательства. Но чтобы получить это доказательство, мы должны с определенной точностью знать природу и атрибуты божества Саис - проблема, которую, как мне кажется, не удалось удовлетворительно решить ни одному исследователю. Это был бы сильный и, как мне кажется, убедительный аргумент в пользу того, что Афина имеет иностранное происхождение, если бы мы были уверены, что ее атрибуты, столь явно интеллектуальные, столь несовместимые с варварством ранних греков, были присвоены ей в начале ее поклонения. Но самые отдаленные традиции (например, ее состязание с Нептуном за обладание землей), если принять более простую интерпретацию, доказывают, что изначально она была сельскохозяйственным божеством, создание которого было бы достаточно естественным для земледельческих пеласгов; в то же время предполагаемое изобретение ею некоторых из самых простых и элементарных искусств вполне соответствует представлениям о неопытной и младенческой эпохе общества. В более поздний период также нет большого сходства между формальной и пожилой богиней дедалийской скульптуры и славной и величественной Глаукопис Гомера - девой небесной красоты и непревзойденной мудрости. Я допускаю, что разнообразие ее атрибутов делает более чем вероятным, что Афина была в большом долгу, возможно, перед "божественным разумом", олицетворенным в египетском Найте, возможно, также, как утверждает Геродот, перед воинственным божеством Ливии - не менее, возможно, перед финикийской Онкой [29], от которой, обучаясь некоторым искусствам, греки могли одновременно узнать имя и поклонение финикийскому божеству, возглавлявшему эти изобретения. И все же исконное божество, вероятно, было ядром, вокруг которого постепенно собирались различные и пестрые атрибуты. И можно с уверенностью сказать, что как только все творение начало оживать, величественная и непорочная богиня-башня, в одиночестве и отстраненно, стала самым национальным, самым величественным из греческих божеств, возвышаясь над всеми сравнениями с теми, кто, возможно, помогал украшать и одевать ее, воплощая в единой форме сам гений, многообразный, но индивидуальный, греческого народа, и став среди всех божеств языческих небес тем, чем стали на земле Афины, которые она защищала.

XI. О греках можно сказать, что никогда не было народа, который бы так полностью национализировал все, что он заимствовал из чужого источника. И что бы, в более отдаленную или более позднюю эпоху, он ни заимствовал из вероучения Исида и Осириса, только одной причины хватило бы, чтобы стереть с лица греков особый характер египетской мифологии.

Религия Египта, как наука, была символической - она обозначала элементарные принципы философии; ее боги были загадками. Утверждается (на основании весьма недостаточных данных), что в первые века существования мира один бог, эмблемой или объектом поклонения которого было солнце, почитался повсеместно на Востоке, и что политеизм возник путем персонификации свойств и атрибутов единого божества: "Один Бог, - говорит Аристотель, - называется многими именами, от различных эффектов, которые производит его различная сила". [30] Но я далек от мысли, что символическая религия является самым ранним автором политеизма; ведь символическая религия относится к более позднему периоду цивилизации, когда некоторые люди в праздности уединяются для развития своего

воображения, чтобы обманывать или наставлять разум остальных. Священники - это первые философы, а символическая религия - первая философия. Но вера предшествует философии. Поэтому я не сомневаюсь, что политеизм существовал на Востоке до той эпохи, когда жрецы Халдеи и Египта придали ему более возвышенный характер, призвав на помощь изобретения дикой и умозрительной мудрости, представляя под телесными знаками вращение земли, времена года и звезды и создавая новые (или, скорее, адаптируя старые и чувственные) суеверия, как более грубые и внешние типы философского вероучения [31]. Но символическое поклонение - создание отдельного и установленного ордена жрецов - никогда не было и не может быть религией, которую исповедует, любит и охраняет народ. Народ требует чего-то положительного и реального для своей веры - он не может поклоняться заблуждению; его благоговение мгновенно ослабевает, если ему дадут понять, что бог, которому они приносят жертвы, не является реальной силой, способной творить зло и добро, а представляет собой тип определенного времени года или нездорового принципа в воздухе. Поэтому в египетской религии существовало одно вероучение для вульгарных людей и другое - для жрецов. Опять же, чтобы изобрести и увековечить символическую религию (которая, по сути, является наследственной школой метафизики), нужны специально выделенные для этого люди, чей досуг склоняет их к изобретательству, чей интерес побуждает их к самозванству. Символическая религия - это доказательство определенной утонченности цивилизации, утонченности мудрецов среди покорного народа; она поглощает собой те медитативные и образные умы, которые, если бы ее не существовало, были бы посвящены философии. Даже если полностью верить легендам, которые привели египетских колонистов в Грецию, можно предположить, что немногие из них были знакомы с тайнами символической мифологии, которую они привнесли. Да и если бы они были таковыми, вряд ли они стали бы сообщать чужому и варварскому населению глубокие и скрытые тайны, скрытые от подавляющего большинства самих египтян. Таким образом, что бы ни привнесли египетские колонизаторы в типичную религию, ее заумный смысл был бы сразу или постепенно утрачен. Мы также не можем - вплоть до недавней эпохи софистов и рационализаторов - четко определить период, в который не существовало неизгладимого различия между греческой и египетской мифологией: первая была действительной, реальной, телесной, бытовой; вторая - смутной, теневой и символической. Этого могло бы и не произойти, если бы в греческих, как и в египетских городах, были созданы отдельные коллегии жрецов, в чьих руках находилась единственная забота о религии и которые составляли бы привилегированный и исключительный орган государства. Но среди греков (и это следует постоянно помнить) никогда не было, ни в один известный исторический период, отдельной касты жрецов [32]. Можно заметить, правда, что первые колонизаторы начали с подходов к этому принципу, но дальше этого дело не пошло. В Афинах существовали священные семьи, из которых происходили определенные священнослужители, но даже эти люди ничем не выделялись; они выполняли все обычные обязанности гражданина и не были объединены какими-либо исключительными привилегиями или духом партийности. Среди египетских авантюристов, вероятно, не было ни одного, кто был бы приспособлен предыдущим образованием к священной должности; а вождь, получивший власть, мог не питать непреодолимой привязанности к касте, которая в его собственной стране, как он видел, диктовала монарху и вмешивалась в управление. [33]

Так, среди ранних греков мы видим, что сами вожди довольствовались тем, что приносили жертву и произносили молитву; и хотя были назначенные и специальные жрецы, они не обладали ни властью, ни властью повелителя. Ареопаг в Афинах заботился о религии, но ареопагиты не были священниками. Отсутствие касты жрецов существенно повлияло на гибкость и привычность греческого вероучения, потому что не было никого, кто был бы профессионально заинтересован в охране чистоты религии, сохранении заимствованных

символических аллюзий и запрете привнесения новых богов и разнородных верований. Чем популярнее религия, тем больше она стремится к телесным представлениям и избегает тусклых и холодных теней метафизической веры". [34]

Романтические басни, связанные с греческой мифологией, были, в некоторых случаях, домашними, в некоторых относились к родным героям и включали в себя родные легенды, но они также были, в значительной степени, буквальными интерпретациями символических типов и метафорических выражений, или ошибочными извращениями слов на других языках. Жажда объяснить природные явления, общие для человечества, желание присвоить родным героям дикие рассказы мореплавателей и чужеземцев, естественные для тщеславного и любопытного народа, дополнения, которые получала каждая легенда в процессе своего распространения от племени к племени, и постоянные приукрашивания самых примитивных изобретений в результате конкуренции соперничающих поэтов, быстро раздували и обогащали эти первичные сокровища греческих преданий, чтобы вывести историю из аллегии и установить вероучение в романе. Таким образом, раннюю мифологию Греции следует рассматривать в ее простых и внешних интерпретациях. Греки, будучи еще в социальном младенчестве, рассматривали легенды своей веры, как ребенок читает сказку, доверяя всему сверхъестественному в действии и не осознавая всего, что может быть философским в морали.

Правда, смутные ассоциации религии, сабейской и элементарной, такой как у пеласгов (но не чужой и философской), с религией физической и народной, то тут, то там слабо прослеживаются у самых древних греческих авторов. Мы можем видеть, что в Юпитере они представляли эфир, а в Аполлоне, а иногда даже в Геракле - солнце. Но эти авторы, хотя, возможно, и бессознательно, намекали на символическое, закрепляли, благодаря жизненности и характеру своих описаний, реальные образы богов, и, изменив порядок вещей, Гомер создал Юпитера! [35]

Но большинство тонких и типичных интерпретаций греческой мифологии, известных нам в настоящее время, были заимствованы из философии более поздней эпохи. Объяснения религиозных басен, таких как, например, заковывание Сатурна в цепи Юпитером и изнасилование Прозерпины Плутонем, в которых Сатурн обозначает оборот времен года, прикованный к звездам, чтобы предотвратить слишком большую скорость, а изнасилование Прозерпины превращено в аллегию, обозначающую семена кукурузы, которые получает и погребает властный принцип земли [36]; -моральное или физическое объяснение подобных легенд было, я говорю, делом немногих, сведенных в систему либо благодаря иностранным сообщениям, либо благодаря острому изобретению. Ибо символическая религия, созданная жрецами одной эпохи, восстанавливается или переделывается после ее разложения философами другой.

XII. Здесь мы можем сделать небольшую паузу, чтобы спросить, откуда греки взяли самые прекрасные и очаровательные из своих мифологических творений - этих меньших и более земных существ - духов гор, вод и рощ.

На всем Востоке, начиная с самых отдаленных времен, мы видим, что горы были храмами природы. О святости высоких мест постоянно говорится в священных писаниях. Халдеи, египтяне и персы одинаково верили, что на вершинах гор они приближаются к небесным оракулам. Но и фонтан, и пещера, и роща в глазах первых религиоведов Востока были не менее священны, чем вершина горы. Ручьи и фонтаны посвящались Солнцу, а их выдохи должны были вдохновлять на пророчества и дышать божественным дыханием. Мрак пещер, естественно, являющийся местом зарождения благоговения, считался подходящей сценой

для прорицательских откровений - он вдохновлял на неземное созерцание и мистическое упоение. Порфирий (хорошо знакомый со всеми языческими преданиями, но часто неправильно понимавший их характер) считает, что Зороастр первым привил поклонение пещерам [37]; там ранние жрецы держали храм, а первобытная философия - свое пристанище [38]. Рощи, особенно на возвышенных местах или вблизи выдыхающих потоков, также были пригодны для поклонения и способствовали мечтам возбужденного и доверчивого воображения; Пека, сын Ремалии, возжигал фимиам не только на холмах, но и "под каждым зеленым деревом". [39]

Итак, эти места - гора, лес, ручей и пещера - в равной степени были объектами святости и благоговения среди древних народов.

Но мы не должны обязательно предполагать, что столь универсальное суеверие было заимствовано, а не придумано ранними греками. Те же причины, которые заставили их поклоняться земле и морю, распространили их веру на реки и горы, которые в духе естественной и простой поэзии они называли "детьми" этих элементарных божеств. Сама почва Греции, разбитая и разнообразная множеством неравенств, отмеченная вулканическими чертами, изобилующая ручьями и мефитическими фонтанами, способствовала тому, что чувство местного божества стало преобладающим и интенсивным. В каждом маленьком кантоне был свой Нил, чье влияние на плодородие и культуру было достаточным, чтобы стать достойным умилоствления, а значит, и олицетворения. Если бы Греция была объединена под властью одной монархии и характеризовалась общим однообразием почв, то только одна река, одна гора могла бы считаться божественной. Именно количество племен, разнообразие природных особенностей обусловили изобилие и пышность мифологических творений. Мы также не можем исключить из числа причин, породивших многочисленные, яркие и всеобщие суеверия Греции, землетрясения и наводнения, которым, судя по всему, рано и часто подвергалась эта земля. Активности и капризам природы - частому действию причин, нераспознанных, непредвиденных, неугаданных, греки во многом были обязаны своей склонностью обращаться к таинственным и высшим силам и той удивительной поэзии веры, которая с восторгом связывала видимое с невидимым. Своеобразие не только народа, но и его ранних поэтов, не только его почвы, но и воздуха и небес, окрашивает суеверие, которое он создает: И большинство земных демонов, которых мрачный Север облек в ужас и наделил злобой, переняли от благотворного гения и чарующего климата Греции самые нежные покровительства и самые прекрасные формы; однако даже в самой Греции они не были универсальными по своему характеру, а скорее являлись верными отражениями характера каждого класса поклоняющихся: Так, грации [40], чьи "глаза" в менестрелях Гесиода "дистиллировали заботливую и берегающую любовь", в Лакедемоне были нимфами дисциплины и войны!

Оставляя эту тему, позвольте сделать одно замечание: местные причины, способствовавшие возникновению суеверия, в последующие времена могли привести к развитию науки. Если природа, которая постоянно находилась в странном и переменчивом действии, заставляла греков в их социальном младенчестве искать агентов для действия и выход для их благоговения, то, когда они достигли более зрелого интеллекта, именно в самой природе они искали причины эффектов, которые поначалу казались сверхъестественными. И на том и на другом этапе их любопытство и интерес, вызванные окружающими явлениями, - легковверные выдумки невежества уступали место жаждающим объяснений философским идеям. Часто в суевериях одной эпохи заложены зародыши, которые перерастают в исследования следующей.

XIII. Перейдем теперь к рассмотрению общих положений веры греков; их жертвоприношений и обрядов поклонения.

Во всех наиболее известных народах древнего мира мы находим установленными те двойные элементы веры, с помощью которых религия гармонизирует и направляет социальные отношения жизни, а именно: веру в будущее государство и в провидение высших сил, которые, наблюдая как судьи за делами земли, наказывают злых и награждают добрых [41]. Высказывались предположения, что басни об Элизиуме, медленном Коците и мрачном Аиде были либо выдуманы, либо аллегоризированы на основе названий египетских мест. Диодор уверяет нас, что в обширных катакомбах Египта, мрачных чертогах мертвых, находились храм и поток, оба называемые Коцит, поганный канал Ахерона и Елисейские равнины [42]; и, согласно тому же неопределенному авторитету, тело мертвого переправлял через воды лоцман, называемый на египетском языке Хароном. Но до переправы назначенные судьи на берегу Ахерона выслушивали все обвинения, выдвигаемые живыми против умершего, и, если убеждались в его проступках, лишали его обрядов погребения. Поэтому считалось, что Орфей перенес в Грецию басни об inferнальных областях. Но есть все основания смотреть на эту сказку с недоверием и полагать, что доктрина будущего состояния была известна грекам без всякого обучения из Египта; при этом несомненно, что основная мораль египетской церемонии, а именно суд над мертвыми, не была знакома ранней доктрине греков. Они не верили, что хорошие люди будут вознаграждены, а плохие наказаны в том мрачном будущем, которое они представляли себе в своих представлениях о царстве теней". [43]

XIV. Не столько в греческих божествах, сколько в обычаях в их честь мы можем заметить некоторые следы восточного суеверия. Мы узнаем обычаи старших верований в выбранных местах их храмов и привычных церемониях поклонения. Молящийся обращал лицо на восток, и его окропляли в качестве необходимого очищения святой водой, о которой часто упоминают как священные писатели, так и профаны - типичный обряд, доставшийся от язычества большей части существующего христианства. Ни одно приношение не было должным образом приготовлено, пока его не смешали с солью - этим домашним и незапамятным приношением, которое совершали не только жрецы языческих идолов, но и предписал Моисей для завета еврейского Бога. [44]

XV. Теперь мы переходим к тем священным праздникам, посвященным религиозным мистериям, которые вызывают у современников столь искренний интерес. Пожалуй, ни одна тема, связанная с религией древних, не культивировалась с более кропотливой эрудицией, сопровождавшейся более бесплодными результатами. И с такой же правдой и остроумием острый и пронизательный Лобек сравнил школы Варбуртона и Сент-Круа с сабинами, которые обладали способностью мечтать о том, чего хотели. Согласно древней и до сих пор популярной версии, темные загадки Элевсиса были заимствованы из Египта; драма Анаглифа [45]. Но, отвечая на эту теорию, мы должны заметить, что даже если в начале своего существования они действительно были странными и торжественными обрядами, о которых утверждают, что они были мистическими церемониями, которые так естественно вырастают из связи между ужасным и неизвестным, были настолько распространены среди дикарей древнего мира, как бы они ни были рассеяны, и до сих пор так часто встречаются путешественникам на берегах, утверждать, что восточная мудрость когда-либо забредала туда - это дикое предположение, что более вероятно, что они были отпрыском туземного невежества [46], чем возвышенным импортом символической философии, совершенно не свойственной племенам, которым она была передана, и временам, к которым относится это учреждение. И хотя я бы приписал Элевсинским мистериям гораздо более раннюю дату, чем

Лобек склонен [47], я тщетно ищу более вероятное предположение о причинах их происхождения, чем то, которое он предлагает и которое я сейчас представляю читателю. Мы видели, что в каждом греческом государстве были свои особые и любимые божества, которых умилостивляли с помощью различных церемоний. Первые греки полагали, что их боги могут быть отвоеваны у них более искренними молитвами и более пышными подношениями их соседей; гомеровские герои обосновывают свое право на божественную защиту количеством подношений, которые они приносили божеству, к которому взывали. О том, насколько ревностно греки стремились сохранить за собой благосклонность богов-покровителей, могут свидетельствовать случаи, когда молитвы к высшим силам произносились негромко и шепотом, чтобы враг не услышал обращения и не стал заинтересованным подражанием бороться за небесную благосклонность. Поэтому элейцы, часто враждовавшие со своими соседями, афинянами, вполне обоснованно могли исключить последних из церемоний, установленных в честь их божеств-покровителей, Деметры и Персефоны (то есть Цереры и Прозерпины). И мы можем добавить, что после установления тайны обряды могли в очень ранний период получить, и, возможно, заслужить, загадочный и мистический характер. Но когда после поражения элевсинцев два государства объединились, союз был подтвержден совместным участием в церемонии [48], которой политическое дело придало бы более формальный и торжественный характер. Этот рассказ о происхождении Элевсинских мистерий, конечно, не может быть доказан, но он кажется мне, по крайней мере, наиболее вероятным сам по себе и наиболее соответствующим привычкам греков, как и всех ранних народов.

Несомненно, что долгое время празднование Элевсинских церемоний ограничивалось этими двумя соседними государствами, пока различные причины не способствовали объединению всей Греции общей религией и общим именем, и в них стали допускаться все греки всех сословий, мужчины и женщины, при условии, что они не совершали необъяснимых проступков, выполняли необходимые церемонии и были представлены афинским гражданином.

С ростом славы и блеска Афин это учреждение становилось все более известным и величественным, пока не превратилось в самое впечатляющее зрелище языческого мира. Очевидно, что народ, столь подражательный, не стал бы отвергать никаких новшеств или дополнений, которые могли бы повысить интерес или торжественность выставки; и тем более таких, которые могли бы прийти (по каким бы каналам) из того древнего и внушительного Египта, который вызывал столько их почитания и удивления. Я также не считаю возможным объяснить большое сходство, засвидетельствованное Геродотом и другими, между мистериями Исиды и Цереры, а также сходство в менее известных церемониях между обрядами Египта и Греции, не признавая сразу, что опосредованно или даже сразу, суеверные из первых оказали большое влияние и придали много особенностей тем из вторых. Но эпоха, в которую в основном началось это религиозное общение, стала предметом более серьезных споров, чем того заслуживает вопрос. Несколько одиноких и рассеянных путешественников и чужестранцев, возможно, дали начало этому общению в очень отдаленный период; но в целом мне кажется, что, с некоторыми изменениями, мы должны согласиться с Лобеком и более рациональными школами исследований, что это было в основном в промежутке между гомеровским веком и персидской войной, что мистика перешла в религию, что суеверие приняло атрибуты науки, и что люстрации, аугурации, оргии получили метод и систему от буйного гения поэтического фанатизма.

Теория о том, что в этих августейших мистериях проповедовались доктрины, противоречащие народной религии, на мой взгляд, полностью опровергнута. Выставление древних статуй, реликвий и символов, скрытых от ежедневного поклонения (как на католических праздниках наших дней), вероятно, составляло главную обязанность иерофанта. Но в церемонии в честь Цереры также очень естественно драматизировались благословения сельского хозяйства и его связь с цивилизацией. Посещение богиней inferнальных областей могло составлять внушительную часть зрелища: призрачные образы, смена света и тьмы - все те явления и эффекты, которые, как говорят, придавали столько благоговения мистериям, вполне могли гармонировать с народной верой, а не противоречить ей. И нет никаких оснований полагать, что объяснения, данные жрецами, были более чем объяснением мифологических историй, в соответствии с духом и формой принятой мифологии, или выведением моральных максим из представлений, таких же заезженных, таких же простых и древних, как и все моральные афоризмы. Но по мере того, как интеллектуальный прогресс аудитории продвигался вперед, философы, скептически относящиеся к народной религии, с удовольствием черпали из таких впечатляющих представлений тысячи теорий и моралей, совершенно неизвестных вульгарным людям; и причуды и утонченность более поздних школьников были, таким образом, приняты за понятия раннего возраста и распутной толпы. Одного факта (на котором так часто настаивают), что все греки были допущены к участию, достаточно, чтобы доказать, что никакие тайны, несовместимые с общей верой или очень важные сами по себе, не могли быть ни предложены жрецами, ни приняты публикой. В подтверждение столь очевидной истины можно также заметить, что в народной вере считалось нечестивым отвергать посвящение в таинства, и что некоторые из тех самых писателей, которые наиболее суеверны в отношении одного, придают наибольшую торжественность церемониям другого.

XVI. Санхониатон написал сочинение, ныне утраченное, о поклонении змее. Это древнейшее суеверие, неизменно встречающееся в Египте и на Востоке, также прослеживается во многих легендах и церемониях греков. Змея была частой эмблемой различных богов, ее часто держали при храмах, ее вводили в мистерии, ее везде считали священной. Кстати, весьма необычно, что если у нас змея является символом злого духа, то на Востоке ее принято считать благодетелем. В Индии - змея с тысячью голов, в Египте - змея, увенчанная листом лотоса, - благосклонное и отеческое божество. Нередко басни утверждали, что первые цивилизаторы земли были наполовину людьми, наполовину змеями. Так был представлен китайский Фохи [49], а также афинский Кекропс.

XVII. Но самой примечательной чертой суеверий Греции были ее священные оракулы. И они снова возвращают нас к Египту. Геродот сообщает нам, что оракул Додоны был самым древним в Греции [50], а затем переходит к изложению его происхождения, которое он ведет из Фив в Египет. Но здесь мы сталкиваемся с противоречиями: Геродот, опираясь на авторитет египетских жрецов, приписывает происхождение додонских и ливийских оракулов двум жрицам фиванского Юпитера, похищенным финикийскими пиратами, одна из которых, проданная в Грецию, основала в Додоне оракул, подобный тому, что служил ей в Фивах. Но в предыдущих отрывках Геродот сообщает нам, во-первых, что в Египте жрицы не служили в храмах ни одного божества, ни мужского, ни женского; и, во-вторых, что когда египтяне передали пеласгам имена своих божеств, пеласги посоветовались с оракулом Додоны о том, насколько уместно их принять; так что этот оракул существовал еще до первых и основных откровений египетской религии. Поэтому мне кажется, что предположение, требующее менее жесткого допущения и в равной степени соответствующее всеобщим суевериям человечества (поскольку подобные попытки гадания можно найти у многих народов, столь же варварских), заключается в том, что оракул возник на основе впечатлений пеласгов [51] и

природных явлений этого места; хотя в последующий период способ гадания, весьма вероятно, был имитирован с того, который был принят в фиванском оракуле. И при осмотре этого места действительно кажется, будто сама природа была египетской жрицей! Через могучую рощу дубов протекал ручей, воды которого питали фонтан, который, как могло показаться несведущему дилетанту, был наделен сверхъестественными свойствами. В определенный час пополудни он был сухим, а в полночь - полным. Такие источники обычно считались прорицательными не только на Востоке, но и почти во всех уголках земного шара.

Сначала по журчанию воды, а затем по шуму среди деревьев священные самозванцы истолковывали голос бога. Старая истина гласит, что тайна всегда навязчива и часто удобна. На простые вопросы давались темные ответы, которые можно было истолковать в зависимости от события. Важность, придаваемая оракулу, уважение, оказываемое жрецу, и подарки, возлагаемые на алтарь, указывали на то, что ремесло и честолубие - выгодная профессия. И эта профессия становилась вдвойне привлекательной для ее членов, потому что предлагала жрецам власть в служении оракулам, которую они не могли получить в общей религии народа. Оракулы росли, сначала медленно, а затем стремительно, пока не стали настолько многочисленными, что в одном только районе Беотии их насчитывалось не менее двадцати пяти. Однако оракул в Додоне долгое время сохранял свое превосходство над остальными, и лишь в конце концов его затмил оракул в Дельфах [52], где сильные и пьянящие выдохи из соседнего ручья, как полагали, наделяли пророческими способностями. Опыт усиливал проницательность оракулов, а жрецы, несомненно, близко знакомые со всеми делами окружающих государств и наблюдавшие за живыми состязаниями с хладнокровием зрителей, часто могли давать проницательные и разумные наставления, так что предвидение мудрости выдавалось за предвидение божества. Поэтому большая часть их предсказаний оказывалась чрезвычайно удачной, а когда происходило обратное, вина возлагалась на слепое заблуждение просителя. Таким образом, ни один великий замысел не был осуществлен, ни один город не был основан, ни одна колония не была заложена, ни одна война не начиналась без совета оракула. Во время голода, моровой язвы и сражений божественный голос успокаивал ужас и вселял надежду. Все инстинкты нашей хрупкой натуры, вечно жаждущей поддержки не от мира сего, были задействованы в пользу суеверия, предлагавшего решения сомнений и средства от бедствий.

Помимо этой общей причины влияния оракулов, существовала еще одна, по которой оракулы Греции имели заметное и популярное преимущество перед оракулами Египта. Страна, разделенная на несколько небольших, свободных и воинственных государств, чаще нуждалась в божественном совете, чем страна, объединенная единой монархией или подчиненная жесткому аскетизму каст и жречества, и в которой жители относились к политическим делам с вялым безразличием, привычным для подданных деспотического правительства. В Египте могло пройти полвека без какого-либо политического события, которое бы отправило встревоженные тысячи людей к оракулу; но в удивительном брожении, активности и беспокойстве многочисленных греческих городов каждый месяц, каждую неделю возникал какой-то проект или какая-то вражда, для которой требовался совет божества. Поэтому именно политическим делам бессмертный оракул в Дельфах был обязан своей первостепенной важностью. Дорийские поклонники Аполлона (издавна привязанные к этому оракулу, тогда еще сравнительно малоизвестному), пройдя по его соседству и подружившись с его предсказаниями, получили власть на Пелопоннесе; их успех был триумфом оракула. Дорийская Спарта (долгое время самое могущественное из греческих государств), нерушимо верная дельфийскому богу, поддерживала его авторитет и распространяла славу о его постановлениях. Но в более отшлифованные и просвещенные времена репутация оракула постепенно померкла; ярче всего он сиял перед Персидской

войной и во время нее, - уместный свет рыцарского века, медленно угасающий с появлением философии!

XVIII. Но практика гадания не ограничивалась этими более торжественными источниками - ее энтузиазм был заразителен, ее помощь всегда была под рукой [53]. Энтузиазм действовал на самых скромных людей. Один человек воображал себя одержимым духом, вселившимся в его душу, другой просто вдохновлялся божественным дыханием, третий впадал в сверхъестественные экстазы, в которых видел тени событий или видения бога - три вида божественной одержимости, которые мы все еще можем найти признанными у фанатиков более серьезной веры! Но и этого было недостаточно: мир предзнаменований окружал каждого человека. Существовали не только знаки и предупреждения в ветрах, землетрясениях, затмениях солнца или луны, метеоритах или ударах грома, но и сны были сведены к науке [54]; внутренности жертв были предзнаменованием зла или добра; полеты птиц, движения змей, скопления пчел имели свои мистические и предвещающие толкования. Даже поспешные слова, несчастный случай, падение на землю, чихание (на которое мы до сих пор призываем древнее благословение), любое необычное или неожиданное событие могли стать предзнаменованием и часто становились счастливыми или несчастными в зависимости от ловкости или предрасположенности человека, с которым они произошли.

И хотя в более поздние времена многие из этих легкомысленных суеверий ушли в прошлое - хотя Теофраст говорит о таких мелких предзнаменованиях с таким же остроумным презрением, с каким Зритель высмеивает наши страхи по поводу опрокидывания солонки или появления витой простыни в свече, - тем не менее, в более интересный период Греции эти народные поверья не были презрены более благородными и мудрыми людьми, и до последнего сохраняли то влияние на массу, которое они утратили в отношении отдельных людей. И только постоянно помня об этой всеобщей атмосфере религии, мы можем проникнуться правильным пониманием характера греков в их самый греческий век. Вера была с ними всегда - в горе и в радости, на похоронах и на пирах, во время восстаний и падений, за границей и дома, у очага и на рынке, в лагере и у алтаря. Утром и вечером все великие племена древнего мира возносили свои молитвы к небесам, и Платон трогательно подчеркивает это священное единообразие обычаев, когда говорит нам, что на восходе луны и на рассвете солнца можно увидеть греков и варваров - все народы земли - склоняющихся в поклоне перед богами.

XIX. Подводя итог, можно сказать, что вышеприведенные замечания приводят к следующим основным выводам: во-первых, греческая мифология не может быть переделана ни в одну из капризных и фантастических систем эрудитов: В целом, никакая мифология не может считаться более поразительно оригинальной, не только потому, что ее основы кажутся коренными, и основаны на характере и впечатлениях народа, не только потому, что ни в один период, от самых ранних даже до самых поздних дат, независимо от случайных сходств, может быть установлена какая-либо идентификация между ее наиболее популярными и существенными творениями, и теми из любой другой веры; но потому, что даже все, что она заимствовала, она быстро переделала и натурализовала, становясь еще более индивидуальной от самой своей сложности, еще более оригинальной от плагиатов, которые она охватывала; Во-вторых, что она отличалась во многих деталях в различных государствах, но при развитии общего общения, которому помогал общий язык, пластичный и терпимый гений народа гармонизировал все разногласия - пока (католическая в своих фундаментальных принципах) ее религия не объединила всю Грецию в нерасторжимые узы веры и поэзии, повседневных обычаев и почтенных традиций; В-третьих, влияние других

вероучений, хотя и немаловажное в усилении характера и пополнении списка первобытных божеств, гораздо более очевидно в церемониях и обычаях, чем в личных творениях веры. Мы можем с достаточной долей скептицизма относиться к тому, что Геродот слышал о происхождении обрядов или богов от египетских жрецов; но нет никаких оснований не верить свидетельству его опыта, когда он утверждает, что формы и торжественные мероприятия одного культа очень похожи на те, что проводятся в другом; подражание чужой церемонии вполне совместимо с исконным изобретением национального бога. В остальном, я думаю, можно было бы (и многие ученые, как мне кажется, уже сделали это) убедительно доказать, что финикийское влияние на раннюю мифологию греков было гораздо сильнее египетского, хотя постепенно, и еще долго после героического века, последнее стало более охотно приниматься и более поверхностно проявляться.

Заканчивая эту часть нашей темы, заметим в качестве дополнительной иллюстрации замечательной национальности греческой мифологии, что лучше всего мы можем понять нравы гомеровских людей, изучая гомеровских богов. В Гомере мы видим мифологию эпохи, аналогию которой мы тщетно ищем в записях Востока - эта мифология неразрывно связана с конституцией ограниченных монархий, с нравами героического века: власть государя небесной аристократии - это власть греческого царя над греческим государством: - общественная жизнь богов - это жизнь, наиболее желанная для греческих героев; - неопределенные атрибуты божеств, скорее физические или интеллектуальные, чем моральные - сила и красота, проницательность, смешанная с хитростью, доблесть со свирепостью, склонность к войне, но способности к изобретению мира; таковы были атрибуты, наиболее почитаемые среди людей, в прогрессивный, но все еще нецивилизованный век, который делает промежуток, столь преимущественно греческий - между мифическим и историческим временем. Тщетны и бессильны все попытки отождествить религию ахейских воинов с религией восточных жрецов. Она действительно была символической - но для характера своих верующих; типичной - но для беспокойного, но поэтического, смелого, но изящного темперамента, который впоследствии привел к великим достижениям и нетленным искусствам: грядущие события славы отбрасывали свои тени прежде, в басне.

XX. Теперь перед нами открывается гораздо более важный вопрос, чем вопрос о происхождении и форме религии греков; а именно, о влиянии самой религии на их характер, нравы, социальные и интеллектуальные наклонности.

Чем больше мы можем приблизить божество к себе - чем больше мы можем наделить его человеческими атрибутами - чем больше мы можем связать его с земными делами и симпатиями, тем сильнее будет его влияние на наше поведение - тем с большей любовью мы будем созерцать его атрибуты, тем более робко мы будем уклоняться от его бдительности, тем более беспокойно мы будем стремиться к его одобрению. Когда Эпикур допускал существование богов, но представлял их совершенно равнодушными к заботам людей, созерцающими только свое собственное счастье и не обращающими внимания ни на наши добродетели, ни на наши преступления, - этим учением он лишал человека божества так же эффективно, как если бы отрицал его существование. Страх перед богами не мог стоять перед глазами тех, кто верил, что боги совершенно безразличны к их поведению; и не только ужасный контроль религии над их страстями был отменен, но и более прекрасная часть ее влияния, проистекающая не из ужаса, а из надежды, была в равной степени разрушена и уничтожена: Ибо если страх перед божественной силой служит для сдерживания менее благородных натур, то, с другой стороны, для более возвышенных и великодушных не существует такого удовольствия, как вера в то, что нас с одобрением и любовью

рассматривает Существо невыразимого величия и благодати, которое сострадает нашим несчастьям и вознаграждает нашу борьбу с собой. Именно эта надежда вселяет в нас гордость за свою природу и не только удерживает нас от порока, но и вдохновляет на стремление пробудить в себе все великое и добродетельное, чтобы тем больше заслужить его любовь и почувствовать образ божества, отраженный в душе. Именно по этой причине мы не довольствуемся тем, что оставляем характер Бога неопределенным и недосказанным, окутанным мраком его собственного безграничного могущества; мы наделяем его атрибутами человеческого совершенства, но только в той степени, которая выходит за рамки человечности; и не можем представить себе божество, не обладающее такими качествами, как справедливость, мудрость и благожелательность, которые наиболее почитаемы среди человечества. Но если мы верим, что Он сошел на землю - что Он носил наш облик, что Он познал наши горести, - связь становится еще более тесной и близкой; мы чувствуем, что Он может лучше понять нас и более благосклонно сострадать нашим немощам и скорбям. Христос, ходивший по земле и страдавший на кресте, легче представляется нашему воображению и более привычен для нас, чем Грозный Вечный, у Которого небо - престол, а земля - подножие [55]. И именно эта, так сказать, человечность связи между человеком и Спасителем придает христианской религии, правильно воспринятой, особые чувства мягкости и любви.

Но нечто подобное, хотя и в более развращенной степени, характерно и для религии греков; они тоже верили (по крайней мере, большинство), что большинство божеств появлялись на земле и были фактическими подателями великих благ общественной жизни. Перенесясь на небо, они могли легче понять, что эти божества с интересом рассматривали народы, которым они были явлены, и оказывали постоянное влияние на землю, которая некоторое время была их домом.

Сохраняя веру в то, что божества посещали мир, греки, тем не менее, не безоговорочно верили басням, унижавшим их наши слабости и пороки. У них было как бы - и это, кажется, не совсем правильно понимается современниками - две популярные мифологии: первая посвящена поэзии, а вторая - реальной жизни. Если человеку говорили, что он должен подражать богам, то это были добродетели справедливости, умеренности и благожелательности [56]; и если бы он послушался этого предписания, подражая интригам Юпитера или убийцам Марса, то более просвещенные люди сказали бы ему, что эти истории были выдумкой поэтов, а более доверчивые - что боги могут быть освобождены от законов, но люди связаны ими - "Superis sea jura" [57] - их собственные законы для богов! Правда, эти басни сохранялись, пользовались народным уважением, но почитание, которое они вызывали у греков, объяснялось поэзией, которая льстила их национальной гордости и околдовывала их вкус, а не серьезными доктринами их религии. Постоянно помня об этом различии, мы получим значительное представление не только об их религии, но и о кажущихся противоречиях в их литературной истории. Они позволили Аристофану изобразить Вакха шутком, а Геракла - обжорой в ту же эпоху, когда преследовали Сократа за пренебрежение к священным мистериям и презрение к национальным богам. К той части религии, которая принадлежала поэтам, они допускали полную свободу действий; но к более серьезной части религии - существованию богов, вере в их коллективное превосходство, провидение и власть, святости убежищ, обязательности клятв - они проявляли самое ревностное и нерушимое уважение. Религия греков, таким образом, была большой поддержкой и санкцией для их морали; она прививала истину, милосердие, справедливость, добродетели, наиболее необходимые человечеству, и стимулировала их твердой и популярной верой в то, что превосходство одобряется, а вина осуждается высшими силами [58]. И в этом прекрасном процессе, когда здравый смысл человечества

исправляет ошибки воображения, те басни, которые последующие философы справедливо считали бесчестными по отношению к богам и которые поверхностный обзор современных историков считает неизбежно пагубными для морали, не оказали недостойного влияния на оценку греками как человеческих действий, так и небесных натур.

XXI. В течение значительного периода греки не переносили понятие божественного наказания за пределы могилы, за исключением тех дерзких преступников, которые богохульствовали или отрицали богов; виновные страдали только от наказаний в этом мире. И эта доктрина, хотя и менее возвышенная, чем доктрина вечного осуждения, была, как я полагаю, исходя из принципов человеческой природы, столь же эффективна для сдерживания преступности: ведь на наши человеческие и недалёковидные умы часто влияют наказания, в той мере, в какой они человечны и скоры. Наказание в будущем мире менее страшно и отчетливо, особенно для молодых и страстных, чем неизбежное возмездие в этом. Человек, слишком влюбленный или слишком тщетный, надеется покаянием в конце жизни искупить недостатки начала, и отложенное наказание теряет больше половины своего ужаса и почти всю свою определенность.

Пока греки оставались исключительно наедине со своей мифологией, их представления о будущем состоянии были меланхолическими и запутанными. Смерть была злом, а не избавлением. Даже в своем Элизиуме любимые герои, похоже, наслаждались лишь холодным и незавидным бессмертием. Однако эта печальная перспектива могилы скорее бодрила жизнь и побуждала к славе: "Пользуйтесь жизнью, - говорят ранние поэты, - ведь скоро наступит тоскливый Аид!" И, находясь в восхитительном климате, наделенные живым и веселым нравом, они с готовностью подчинялись этому наставлению. Их религия была в высшей степени радостной и веселой; даже суровые спартанцы утратили строгость в своих священных обрядах, хотя они были простыми и мужественными, а более грубые афиняне проводили жизнь в почти вечном кругу праздников и священных дней.

Эта неопределенность посмертного счастья также способствовала желанию земной славы. По крайней мере внизу, учили их герои, бессмертие не было невозможным. Ограниченные непроницаемыми тенями этого мира, они жаждали всего, что в этом мире было наиболее желанным [59]. Короткая жизнь приемлема для Ахилла не в том случае, если она ведет в Элизиум, а в том, если она сопровождается славой. Однако постепенно перед надеждами греков их философы открывали перспективы будущего состояния, более благородного и величественного. Утверждалось, что Фалес был первым греком, утверждавшим бессмертие души, и эта возвышенная доктрина была, таким образом, скорее утверждена философом, чем священником. [60]

XXII. Помимо непосредственно религиозных догматов, мистерии греков оказывали влияние на их нравственность, которое, хотя и сильно преувеличивается современными спекулянтами, в целом было благотворным, хотя и не по тем причинам, которые были указаны. Когда они достигли своего зрелого значения, их церемониал, а не их доктрина, служил углублению и распространению благоговения перед религиозными вещами. Какова бы ни была разнузданность других мистерий (особенно в Италии), элевсинские обряды долго сохраняли свою славу чистоты и благопристойности; за ними ревностно следила афинская магистратура, и один из ранних афинских законов предписывал сенату собираться на следующий день после их празднования, чтобы расследовать любые злоупотребления, которые могли запятнать их священный характер. В более поздние времена Исократ превозносит их влияние на нравственность, а Цицерон - на цивилизацию и знание общественных принципов. Люстрация и очищение, в какой бы период ни признавалась их святость, вряд ли могли не оказать благотворного влияния. Предполагалось, что они

освобождают преступника от прежних преступлений и возвращают его, нового человека, в лоно общества. Этот принцип - великий проводник морали, и он ощущался как таковой в более раннюю эпоху христианства: никакой развратитель не является столь смертоносным, как отчаяние; примирить преступника с чувством собственного достоинства - значит, как бы вернуть его к добродетели.

Даже фундаментальная ошибка религии с точки зрения доктрины, а именно ее политеизм, имела одно спасительное последствие в виде терпимости, которую она поддерживала - серьезное зло, проистекающее из яростного антагонизма религиозных мнений, было, за исключением нескольких одиночных и сомнительных случаев, неизвестно грекам. И эта всеобщая терпимость, которой еще больше способствовало отсутствие отдельной касты жрецов, имела тенденцию приводить к философии через открытые и неоспоримые порталы религии. Рассуждения о богах соединялись со смелыми исследованиями природы. Мысль, отпущенная на волю в широком пространстве творения - без препятствий для ее странствий, без монополии на ее торговлю - достигла, после многих диких и бесплодных путешествий, открытий, неизвестных прошлому, имеющих нетленное значение для будущего.

Интеллектуальные авантюристы Греции установили первый флаг на берегах философии; ведь борьба заблуждений необходима для прояснения истин, а воображение указывает на почву, которую разум призван возделывать и использовать.

XXIII. Если таково было влияние религии на мораль и философию греков, то каково было ее влияние на их национальный гений?

Мы должны снова вспомнить, что греки были единственной нацией среди более интеллектуальных людей того времени, которые лишили свои божества символических атрибутов и не стремились изобрести для богов формы, отличающиеся (за исключением более возвышенной красоты) от облика и формы человека. И таким образом перед ними сразу же открылось царство скульптуры. Народы Востока, иногда действительно изображая свои божества в человеческих формах, без колебаний превращали их в чудовищ, если добавление еще одной ноги или руки, собачьей головы или змеиного хвоста могло лучше выразить эмблему, которую они представляли. Они превращали свои образы в аллегорические уродства и удалялись от прекрасного в той мере, в какой они потакали своим ложным представлениям о возвышенном. Кроме того, художник или скульптор должен иметь ясную идею, которую он должен долго лелеять и часто менять, если мы хотим вызвать все вдохновение, на которое способен его гений; но как мог восточный художник сформировать ясную идею образа, который должен представлять солнце, входящее в Овен, или производственный принцип природы? Такие творения не могли не стать чопорными или экстравагантными, деформированными или гротескными. Но для грека бог был чем-то вроде самого величественного или самого красивого представителя своего вида. Он изучал человеческий облик для своих представлений о божественном. Отталкиваясь от естественного, он восходил к идеалу. [61]

Если таково влияние греческой религии на скульптуру, то аналогично и ее влияние на поэзию. Самые ранние стихи греков, по-видимому, были религиозными, хотя я не вижу достаточных оснований утверждать, что они носили типичный и мистический характер. Как бы то ни было, повествование, пришедшее на смену священной поэзии, материализовало все, чего оно касалось. Тени Олимпа обрели дыхание Гомера, и боги сразу стали живыми и осязаемыми для людей. Традиции, связывающие божества с человечеством, - гений, избавивший их от аллегорий, - сразу же подарили эпическому и трагическому поэту мир сверхъестественного. Обитатели самого неба стали индивидуализированными - каждый из них обрел отдельный характер - их можно было представить отчетливо, драматично, как

существ повседневной жизни. Таким образом - преимущество, которым никогда не обладали современники, - со всем невыразимым величием божеств сочетался весь знакомый смертным интерес; и поэт, сохраняя характеристики, отведенные каждому богу, мог заставить нас почувствовать земные ассоциации и симпатии, даже когда он возносил нас к неведомому Олимпу или погружал под землю среди теней Оркуса.

Еще одним преимуществом для поэта были многочисленные басни, смешанные с греческим вероучением, достаточно почтенные, как мы видели, чтобы к ним не относиться с презрением, но и не настолько священные, чтобы быть запрещенными. Ведь традиции народа - это его поэзия! И если мы, современные люди, в немецких лесах, шотландских нагорьях или зеленых английских полях находим вдохновение в понятиях о чудовищах, спрутах и феях, не признанных нашей религией, не приложенных в качестве апокрифического дополнения к нашей вере, то насколько более приспособлены к поэзии те басни, которые заимствовали у религии не абсолютную веру, а некую тень, некое благоговение и тайну! Поэтому мы видим, что величайшие произведения воображения, которые оставили нам греки, будь то Гомер, Эсхил или Софокл, находятся в глубоком долгу перед их мифологическими легендами. Греческая поэзия, как и греческая религия, была одновременно наполовину человеческой, наполовину божественной - величественной, огромной, величественной - домашней, уютной и привычной. Если воспользоваться иллюстрацией из философии Демокрита, его земные сны и гадания были действительно впечатлениями от могущественных и призрачных образов, обитающих в воздухе. [62]

XXIV. О религии Греции, о ее обрядах и церемониях, о ее влиянии на моральные и интеллектуальные способности - вот все, что я считаю нужным сказать в настоящий момент, - уже, боюсь, сказано слишком пространно. [63]

Теперь нам предстоит рассмотреть происхождение рабства в Греции - вопрос, почти столь же важный для нашего точного знания ее государственного устройства и нравов.

XXV. Куда бы мы ни обратили свой взор, в какой бы период истории ни происходило завоевание или поселение более просвещенных колонизаторов среди варварских племен, происхождение рабства представляется измененным в соответствии с духом времени, гуманностью победителя или политикой законодателя. Вероятно, аборигены Греции были ее самыми первыми рабами [64], но они же могли быть и самыми первыми владыками. Предположим, некое племя захватило некую страну - завоевало ее и овладело ею: новые поселенцы почти наверняка будут менее многочисленны, чем покоренные ими жители; в той мере, в какой они менее могущественны по численности, они, вероятно, будут более суровы по власти: Они будут отбирать оружие у побежденных, подавлять право на собрания, подавать суровые и ужасные примеры мятежникам - одним словом, подавлять моральными ограничениями закона тех, кого трудно контролировать только физической силой; жесткость закона будет соответствовать недостатку силы. Во времена полуцивилизованные и даже сравнительно просвещенные завоеватели мало уважают покоренных - между туземцами и их повелителями сразу же проводится огромное и непреодолимое различие. Все древние народы, кажется, считали, что право завоевания дает право на земли покоренной страны. Вильгельм, разделивший Англию между своими норманнами, был лишь подражателем всех успешных захватчиков древности. Завоевав земли покоренного народа, новоприбывшие, чтобы прокормиться, должны стать его крепостными [65]. Более грозные воины большей частью убиты, или изгнаны, или умиротворены остатками власти и владений; народ остается тружеником земли, и небольшие изменения в законах незаметно превращают труженика в раба. Самые первые рабы, по-видимому, были в основном сельскохозяйственным населением. Если бы колонизаторы овладели государством [66], не столько силой оружия,

сколько влиянием превосходных искусств, то в некоторых случаях они все равно установили бы рабство для народа, хотя и не под таким суровым названием. Законы, которые они устанавливали для некультурного и жалкого населения, проводили различие между колонизаторами и аборигенами (за исключением, пожалуй, только туземных вождей, привыкших произвольно командовать, но не систематически поработать остальных). Законы для аборигенов все еще будут улучшением по сравнению с их прежним диким и нерегулируемым состоянием, и может пройти несколько поколений, прежде чем они приобретут суровый характер или сделают окончательное и неизгладимое различие между свободным и рабом. Беспокойство и постоянная миграция племен в Греции, зафиксированные как традицией, так и историей, следовательно, в очень отдаленный период привели бы к учреждению и распространению рабства, и пеласги одного племени стали бы хозяевами пеласгов другого. Поэтому нет необходимости искать за пределами Греции возможность установления рабства в этой стране путем завоевания и войны. Но мирная колонизация иноземных поселенцев (как мы видели) приведет к нему более медленными и мягкими путями. А пиратство финикийцев, которые использовали человеческий род в качестве товара на своем рынке, стало бы примером, более распространенным и постоянным, чем их собственное, для пиратства ранних греков. Обычай рабства, начатый таким образом, вскоре подпитывается из новых источников. Военнопленные попадают в рабство или, по желанию победителя, обмениваются как предмет торговли. До появления денег мы имеем множество примеров обмена пленными на еду и оружие. А когда деньги стали средством торговли, рабы превратились в обычный предмет купли-продажи. Отсюда и возник рынок рабов. Все более роскошные рабы приобретались не только для работы, но и для удовольствия. Искусный музыкант из прекрасной девы становился предметом вкуса или жертвой страсти. Таким образом, то, что было тенденцией варварства к возникновению, стало тенденцией цивилизации к увеличению.

Итак, рабство возникло, во-первых, в результате завоевания и войны, пиратства или колонизации: во-вторых, в результате покупки. Было еще два подчиненных источника этого института: первый - преступление, второй - бедность. Если свободный гражданин совершал ужасное преступление, его могли превратить в раба, если он был не в состоянии оплатить свои долги, кредитор мог потребовать его персону. Лишение свободы - это всего лишь пережиток и замена рабства. Два последних источника исчезали по мере того, как народы становились все более свободными. Но в Аттике право кредитора на личные услуги должника было официально отменено лишь во времена Солона, спустя несколько веков после учреждения рабства в Афинах.

О моральных последствиях рабства, о состоянии рабов в Афинах, о преимуществах и недостатках этой системы, о том, в каком свете ее рассматривали сами древние, нам еще представится другая, более подходящая возможность.

XXVI. Введение наследственной аристократии в какой-либо стране, пока еще нецивилизованной, часто происходит одновременно с введением рабства. Племя воинов захватывает и покоряет территорию; они делят землю с вождем пропорционально их связям с его персонею или их военным заслугам и репутации; каждый становится повелителем земель и рабов; каждый имеет привилегии выше стада покоренного населения. Предположим также, что господство приобретают колонизаторы, а не завоеватели; колонизаторы, превосходящие по уровню цивилизации туземцев и воспринимаемые последними с благоговением и трепетом, сразу же становятся привилегированным и благородным сословием. Отсюда, из любого источника, постоянная и наследственная

аристократия [67]. Если она основана на завоевании, то пропорционально числу победителей, эта аристократия более или менее олигархична. Крайняя скудость сил, с которыми дорийцы завоевывали своих соседей, была одной из главных причин того, что созданные ими правительства были жестко олигархическими.

XXVII. Идя дальше, мы обнаруживаем, что в этой аристократии сохранились семена свободы и зародыши республиканства. Эти завоеватели, подобно нашим феодальным баронам, будучи участниками прибыли от завоевания и славы предприятия, ни в коем случае не допускают безраздельной и абсолютной власти своих вождей. Управляемые отдельными законами, отличающиеся отдельными привилегиями от покоренной общины, они гордятся своей свободой тем больше, чем больше она контрастирует с рабством населения: они сохраняют свободу для себя - они сопротивляются неоправданным притязаниям короля [68] - и сохраняют тот дух и знание свободы, которые в последующие времена (по мере увеличения их численности и превращения в народ, отличный от аборигенов, которые остаются рабами) передаются от знати к народу. В той мере, в какой новая раса воинственна, ее бессознательный дух будет республиканским; связь между военными и республиканскими тенденциями особенно признавали все древние писатели, и воинственные привычки эллинов были колыбелью их политических институтов. Таким образом, в завоевании (или иногда в иммиграции) мы можем проследить происхождение аристократии [69], как и рабства, и таким образом, при более глубоком исследовании, мы можем также обнаружить, что рабство населения и свобода государства имеют свою дату, хотя и тусклую и неразвитую, в ту же самую эпоху.

XXVIII. Я решил, что предполагаемая египетская колонизация Аттики при Хекропсе дает наилучший повод для рассмотрения вышеупомянутых вопросов, причем не столько в отношении самого Хекропса, сколько в отношении миграции восточных и египетских авантюристов. Даты таких миграций могут быть неопределенными, имена авантюристов могут быть неизвестны. Но мне кажется невозможным отрицать факт иноземных поселений в Греции в ее более отдаленную и варварскую эпоху, хотя мы можем спорить о точной величине влияния, которое они оказывали, и о точной природе обрядов и обычаев, которые они установили.

Вера в раннюю связь между египтянами и афинянами, поощряемая хитрым тщеславием одних, приветствовалась живым легковерием других. Спустя много веков после мнимого господства мифического Хекропса, было легкомысленно вообразить, что следы их происхождения из торжественного Египта [70] все еще видны среди изящного и разностороннего народа, чей характер был столь же разнообразен, но столь же индивидуализирован, как и их религия - кто, рассматриваемый в любом аспекте своей интеллектуальной истории, может казаться постоянно отличающимся, но неизменно остается афинянином. Шумят ли они на Агоре, слоняются ли в Академии, приносят ли жертвы Гераклу в храме, смеются ли над Гераклом на сцене, вооружаются ли вместе с Мильтиадом против медяков, выступают ли вместе с Демосфеном против македонян - все они неизменны, неподражаемы, оригинальны и единственны в своей силе или слабости, мудрости или глупости, бурной деятельности и культурном покое.

## ГЛАВА II.

Неважные последствия, вытекающие из признания того, что Хекропс мог быть египтянином. - Аттические цари до Тесея. - Эллины. - Их генеалогия. - Ионийцы и ахейцы пеласгические. - Контраст между дорийцами и ионийцами. - Амфикионийская лига.

I. Допуская, что нет достаточных доказательств, чтобы заставить нас отвергнуть историю о египетском происхождении Кекропса, следует заметить, что я не придаю большого значения этому спору и не склонен благоговейно относиться к бесчисленным теориям, построенным на столь неопределенном фундаменте. Возможно, египтянин и переселился в Аттику, но египетское влияние в Аттике было слабым и мимолетным; дойдя до первой зари исторического факта, мы с трудом обнаруживаем самые сомнительные и теневые следы его существования. Ни Сесропс, ни какой-либо другой египтянин в те века не основал династию в Аттике; очевидно, что никто из них не устанавливал другого языка; все хваленые аналогии в религии при ближайшем рассмотрении превращаются в случайное сходство между символами и атрибутами египетских и греческих божеств или сходство в мистических церемониях и торжественных учреждениях, которые, по большей части, были почти бесспорно сформированы в результате общения между Грецией и Египтом в гораздо более поздний период. Если взять самую раннюю эпоху, с которой начинается история, и сравнить весь характер афинского народа - моральный, социальный, религиозный и политический - с характером любого египетского населения, то невозможно подобрать более поразительный контраст или такой, в котором национальный характер казался бы более неизгладимым в результате раннего и привычного принятия совершенно противоположных принципов мышления и действия. [71]

Я сказал, что Сесропс не основал никакой династии: те же традиции, которые выводят его из Египта, дают ему в преемники Кранауса, местного жителя. Темнота басни закрывает промежуток между правлением Кранауса и временем Тесея: если традиция может быть хоть каким-то ориентиром, история этого периода была историей человеческой расы - это был постепенный переход людей от варварского состояния к заре цивилизации, и национальные мифы лишь собираются в дикие и прекрасные вымыслы вокруг каждой вехи в их медленном и обремененном прогрессе.

Вполне возможно, что, немного изобретательно применив различные басни, дошедшие до нас, можно построить историю воображаемых завоеваний и выдуманных революций и тем самым заслужить незаслуженную похвалу за то, что пролил новый свет на те далекие века. Но когда басня является нашей единственной основой, никакая возведенная нами конструкция, какой бы внушительной она ни была, не может по праву носить название истории. И как в некоторых древних хрониках о ничем не примечательных монархах говорится лишь, что они "жили и умерли", так и в отношении теневых царей, которые, ли в Евсевии, или в парийском мраморе, дают даты и хроники легендарному мраку, предшествовавшему героическому веку, такое утверждение было бы самым самонадеянным.

Главное событие, записанное в эти ранние времена, для которого, кажется, есть некоторые основания, - это война между афинским Эрехтеем и элейцами; последним помогал или возглавлял фракиец Эвмолп. Эрехтей, как говорят, пал жертвой в этом поединке. Но договор, заключенный впоследствии с элейцами, подтвердил господство Афин и, возможно, с помощью религиозного обряда положил начало Элевсинским мистериям. В этом состязании участвует весьма сомнительная личность под именем Ион (к которому я еще вернусь), выступающая на стороне афинян, и можно допустить, что он оказывал на них определенное влияние, будь то в религиозных обрядах или политических институтах, хотя он не достиг трона и, похоже, не превысил мирной власти союзника. На смутных и путаных традициях, связанных с Ионом, были привиты самые дикие и пышные домыслы - не стоит замечать, не стоит опровергать.

II. В этот период произошла - не быстро, но медленно - самая важная революция в ранней Греции: распространение племени, называемого эллинами, которые постепенно утвердили

свое господство на всей земле, наложили неизгладимый отпечаток на национальный характер и, наконец, превратили свой собственный в национальное имя.

Я уже высказывал свое мнение, что пеласги не были варварской расой, говорившей на варварском языке, а были сродни эллинам, которые говорили на греческом языке и считались собственно греческим родом. Даже сомнительные записи генеалогии (которая, будучи сама по себе баснословной, часто под именами отдельных людей указывает на родство племен) делают эллинов родственниками пеласгов. Девкалион, основатель эллинов, был пеласгического происхождения - сын Прометея и племянник Атласа, царя пеласгической Аркадии.

Как бы то ни было, мы видим, что во времена Девкалиона эллины были изгнаны потоком из Фокисы, их самого раннего места обитания. Переселившись в Фессалию, они изгнали пеласгов, а затем, распространившись по всей Греции, добились всеобщего превосходства над прежними жителями, поработив, несомненно, большую часть населения, среди которого они образовали поселение, но изгнав множество более решительных или знатных семей, и вызвав те знаменитые миграции, благодаря которым пеласги перенесли свое имя и искусство в Италию, а также на Крит и различные другие острова. На греческом континенте, когда революция завершилась, пеласги, похоже, сохранили только Аркадию, большую часть Фессалии [72], земли Додоны и Аттику.

Нет причин считать эллинов более просвещенными и цивилизованными, чем пеласги; но, судя по записям об их завоеваниях, они были более суровой, воинственной и авантюрной ветвью греческой семьи. Я считаю, что они были той частью пеласгов, которая дольше всех сохраняла свирепый и энергичный характер горного племени и застала народы, в которые они вторглись, в тот несовершенный период цивилизации, который так благоприятен для замыслов завоевателя - когда первая воинственная природа хищного племени действительно оставлена, но еще не приобретена дисциплина, порядок и предусмотрительность социального сообщества. Подобно саксам в Британии, эллины были приглашены [73] различными пеласгическими вождями в качестве вспомогательных войск и остались в качестве завоевателей. Но в других отношениях они скорее напоминали более рыцарский и энергичный род, которым в Британии была свергнута саксонская династия: эллины были норманнами древности. Невозможно определить точную дату, когда эллины получили общее превосходство или когда греки получили от этого фессалийского племени свое общее название. Греки не назывались эллинами в то время, когда была написана "Илиада" - они назывались так во времена Гесиода. Но даже в "Илиаде" слово *Panhellenes*, применяемое к грекам, свидетельствует о прогрессе революции [74], а в "Одиссее" эллинское имя уже не ограничивается владениями Ахилла.

III. Эллинский народ стал популярно подразделяться на четыре основных рода: дорийцев, эолийцев, ионийцев и ахейцев, из которых только два первых я считаю истинно эллинскими. В басне, в которой Дорус, Эол и Ксуф являются сыновьями Елены, говорится, что в то время как Дорус был отправлен на завоевание других земель, Эол стал наследником Фтиотиса, и не упоминается о его собственных завоеваниях; но его сыновьям приписывается происхождение большинства основных семей Греции. Если правильно истолковать этот рассказ, то можно предположить, что эолийцы, по крайней мере, в течение нескольких поколений после первой миграции дорийцев оставались на своих фессалийских территориях, а затем, разделившись на различные орды, спустились в качестве воинов и захватчиков в различные государства Греции. Судя по всему, они привязались к морским местам, и богатство их ранних поселений - тема многих легенд. Роскошь Орхомена сравнивается Гомером с египетскими Фивами. А во времена Троянской войны Коринф уже

называли "богатым". Постепенно эолийцы в значительной степени смешались с дорийцами. Однако эллины и пеласги настолько тесно связаны друг с другом, что даже их, потомков Елены по старшей ветви, путают с пеласгами не меньше, чем с дорийцами. Страбон и Павсаний одинаково утверждают, что эолийцы - пеласги, а в эолийском диалекте мы приближаемся к пеласгическому языку.

Дорийцы, впервые появившиеся во Фтиотисе, через два поколения оказались в горном районе Гистиаэотис, включавшем в себя, по словам Геродота, незапамятную долину Темпе. Соседствуя с воинственными ордами, особенно с героическими лапифами, с которыми, согласно самым ранним легендам, они вели ожесточенную и продолжительную войну, это горное племя переняло от природы и обстоятельств свой выносливый и воинственный характер. Не сумев создать надежных поселений на плодородных фессалийских равнинах и укрывшись в дефиле, через которые романтический Пеней впадает в море, некоторые из племени рано переселились на Крит, где, хотя и составляя лишь часть населения острова, они, как полагают некоторые, основали дорийскую конституцию и обычаи, которые в их последующих поселениях служили им образцом. Другие миграции ознакомили их продвижение к подножию горы Пинд, затем в Дриопис, впоследствии названный Дорисом, а из Дриописа в Пелопоннес; эту знаменитую миграцию под названием "Возвращение Гераклидов" я в дальнейшем опишу более подробно. Я уже говорил, что генеалогия приписывает происхождение дорийцев и эолийцев Дорусу и Эолу, сыновьям Елены. Это связывает их с эллинами и друг с другом. Приключения Ксута, третьего сына Елены, не описаны в фессалийских легендах, и он кажется просто вымышленным созданием, придуманным, чтобы сблизить с эллинами пеласгические семьи ахейцев и ионийцев. Сравнительно недавно писатели сообщили нам, что Ксута изгнали из Фессалии его братья, что он укрылся в Аттике и на равнинах Марафона построил четыре города - Эннос, Марафон, Пробалинф и Трикорит [75], и что он женился на Креусе, дочери Эрехтея, царя Аттики, и что от нее у него было два сына, Ахей и Ион. Одни рассказывают, что Ахей, вступив на восточную сторону Пелопоннеса, основал владения в Лаконии и Арголиде; другие, напротив, утверждают, что он провел отряд, частично афинский, в Фессалию и вернул себе владения, которых лишился его отец [76]. Оба эти рассказа об Ахее, как представителе ахейцев, верны в том, что ахейцы с отдаленных времен имели два поселения - одно на юге Фессалии, другое в Пелопоннесе.

Ахейцы долгое время были самым выдающимся из греческих племен. Владея почти всем Пелопоннесом, за исключением, по удивительной случайности, той части, которая впоследствии носила их имя, они стяжали воинскую славу благодаря богатому Менелаю и надменному Агамемнону, царю людей. Доминирующее племя героической эпохи, ахейцы образуют родственное звено между несколькими эпохами пеласгического и эллинского владычества - их характер действительно эллинский, но происхождение, очевидно, пеласгическое. Дионисий Галикарнасский выводит их от самого Пеласга, и они существовали как ахейцы еще до рождения эллина Ксута. Легенда, которая делает Ахея братом Иона, также доказывает, что если ионийцы изначально были пеласгами, то и ахейцы тоже. Перейдем к Иону.

Хотя Ион, как говорят, дал аттикам название ионийцев, задолго до него ионийцы были одними из древних жителей страны, а Геродот (лучший авторитет в этом вопросе) утверждает, что ионийцы были пеласгами и коренными жителями. Поэтому нет достаточных оснований предполагать, что они были эллинскими завоевателями или эллинскими поселенцами. Напротив, они были одним из коренных племен Аттики: часть из них ушла в Пелопоннес (примером тому служит переселение туда Ксута), а эти, вернувшись (примером

тому служит прибытие Иона в Афины), вместе с теми из своей братии, кто остался в родном поселении, стали самым могущественным и известным из нескольких подразделений аттического населения. Общение с пелопоннесцами привело ионийцев к созданию некоторых политических институтов и религиозных обрядов, с которыми они познакомились во время своего переселения; таким образом, скорее всего, можно объяснить введение поклонения Аполлону в Аттике и то мирное политическое влияние, которое мифический Ион, как говорят, оказывал на своих соотечественников.

В любом случае, мы не можем проследить никакой четкой и удовлетворительной связи между этим, самым интеллектуальным и блестящим племенем греческой семьи, и той бродячей и удачливой фессалийской ордой, которой эллины дали общее название, и из которой дорийцы были самым подходящим представителем и самой могущественной частью. Также, несмотря на смелые предположения Мюллера, нет никаких доказательств эллинского завоевания в Аттике. [77]

И эта земля, которая, согласно традиции и истории, была ранним убежищем изгнанников, получила от приема и общения чужеземцев и иммигрантов те социальные и политические улучшения, которые в других государствах были вызваны завоеванием.

IV. После того как дорийцы овладели Пелопоннесом, весь облик Греции постепенно изменился. Возвращение Гераклидов стало подлинным завершением эллинской революции. Племена, до этого мигрировавшие, закрепились в приобретенных ими поселениях. Дорийцы стали самой могущественной расой Греции, а ионийцы, их единственные соперники, владели на континенте лишь узкой землей Аттики, хотя их колонии покрывали плодородное побережье Малой Азии. Греция, таким образом, сводилась к двум основным племенам, дорийскому и ионийскому, и историки справедливо и в целом единодушно отмечали между ними самые сильные и заметные различия: дорийцы - серьезные, несгибаемые, строгие, ионийцы - живые, разносторонние, склонные к переменам. Сам диалект одних был более грубым и мужественным, чем у других, а музыка и танцы дорийцев несли на себе отпечаток их суровой простоты. Чувство почитания, пронизывавшее их национальный характер, воспитало в дорийцах не только, с одной стороны, твердую верность религиозным обрядам и патриархальное уважение к возрасту, но и, с другой стороны, слепую и суеверную привязанность к учреждениям только из-за их древности и почти раболепное отношение к рождению, вызывающее скорее чувства клановости, чем симпатии граждан. Далее мы увидим, что в то время как Афины устанавливали республики, Спарта насаждала олигархии. Дорийцы гордились независимостью, но это была независимость знати, а не народа. Их суровость долго удерживала их от нововведений - не столько порочных в своей чрезмерности, сколько мудрых в своих принципах. Обладая многими великими и героическими качествами, они все же были суровы к врагам, жестоки к зависимым, эгоистичны к союзникам. Вся их политика была направлена на то, чтобы сохранить себя такими, какими они были; если они не знали необдуманных излишеств, то и не были движимы великодушными чувствами, присущими людям, чьи постоянные стремления - быть лучше и быть больше, - они не желали быть лучше или быть больше; их единственным желанием было не быть другими. Они не искали в будущем ничего, кроме продолжения прошлого, и с этим прошлым они связывали себя железными обычаями и законами. Уважение, с которым они относились к своим женщинам, а также их презрение к удовольствиям в какой-то мере уберегли их от разнузданности, свойственной государствам, в которых женщин презирают; но в этом уважении было мало деликатности и чувств индивидуальной привязанности - привязанность была главным образом к своему полу [78]. Ионийцы, напротив, были восприимчивы, гибки, и им больше

свойственна щедрость современного рыцарства, чем суровость античного героизма. Их очаровывало не прошлое, а будущее. Вечно стремясь вперед, они были нетерпеливы даже к хорошему, желая лучшего. Как только их побуждали к демократии, демократия закрепляла их характер, как олигархия закрепляла спартанский. Ведь меняться - это стремление демократии, а сохраняться - олигархии. Вкус, любовь и интуиция к прекрасному ставили греков выше всех народов, а ионийцев - выше всех греков. Дело не только в том, что ионийцы были изобретательнее своих соседей, но и в том, что все прекрасное в изобретениях они сразу же брали и присваивали себе. Неутомимые, любознательные, пылкие, они пытались сделать все, что угодно, и совершенствовали искусство, исследовали все, что угодно, и доводили до совершенства философию.

Ионический характер существовал у ионийцев повсеместно, но дорический не был в равной степени сохранен у дорийцев. Причина очевидна. Суть ионического характера заключалась в духе перемен, а дорийского - в сопротивлении нововведениям. Когда какое-либо дорийское государство отказывалось от своих наследственных обычаев и институтов, оно вскоре утрачивало дорийский характер - становилось вялым, женоподобным, роскошным - разложение характера ионийцев; но никакие изменения не могли ассимилировать ионийцев с дорийцами, поскольку они принадлежали к разным эпохам цивилизации: дорийцы - к более древней, ионийцы - к более развитой. Две расы Шотландии стали более похожи друг на друга, чем раньше; но это произошло за счет сходства горца с жителем низины, а не за счет превращения жителя низины в горного гэла. Привычки к торговле, замена демократических институтов олигархическими были достаточны, чтобы изменить весь характер дорийцев. Сладострастный Коринф, торговая Эгина (дорийские государства) - бесконечно больше походили на Афины, чем на Спарту.

Таким образом, именно в Спарте в исторические времена мы должны искать представителя дорийского племени в его собственных и элементарных чертах; и там, чистый, энергичный и сосредоточенный, дорийский характер представляет собой вечный контраст с афинским. Этот контраст продолжался до тех пор, пока один из народов сохранял свой характер, и (независимо от притворства вражды) был реальной и неизбежной причиной той вражды между Афинами и Спартой, результаты которой определили судьбу Греции.

Однако борьба в этой вражде была не столько борьбой между враждующими племенами, сколько борьбой между теми противоположными принципами, которые, можно сказать, питает в себе каждый народ: принцип изменения и принцип сохранения; принцип популяризации и принцип ограничения власти; здесь гений олигархии, там народа; здесь приверженность прошлому, там стремление к будущему. Каждый принцип порождал свои эксцессы и служит полезным предостережением. Вражда Спарты и Афин может рассматриваться как историческая аллегория, отображающая нравственную борьбу, которая, со всеми ее опасностями и колебаниями, будет продолжаться до конца времен.

V. Этот период также отмечается предполагаемым основанием того собрания греческих государств, называемого Амфикифонийской конфедерацией. Генеалогия приписывает ее происхождение сыну Девкалиона по имени Амфикионом. [79]

Эта басня указывает на эллинское происхождение, поскольку Девкалион - легендарный основатель эллинов; но из двенадцати племен, составлявших конфедерацию, только три были эллинскими, а остальные - пеласгическими. Но с ростом влияния дорийского оракула в Дельфах, с которым он был связан, его постепенно стали считать эллинским учреждением.

Невозможно расшифровать первые намерения этой лиги. Собрания проводились в двух местах - у Антелы, на Фермопильском проходе, и в Дельфах; в последнем месте весной, в первом - осенью. Если традиция вменяет Амфикиyonu происхождение совета, то формирование его власти и законов она приписывает Акpисию, царю Аpгоса [80]. Считается, что он основал одно из собраний, либо в Дельфах, либо в Фермопилах (мнения расходятся), объединил их, увеличил число членов и расширил привилегии органа. Мы можем интерпретировать эту легенду только с помощью вероятного предположения, что дата проведения одного и того же собрания в двух разных местах, в разное время года, знаменует собой эпоху какого-то важного соединения различных племен и, возможно, божеств, которые до сих пор были разными. Возможно, это попытка объединить эллинов с пеласгами в ранней и неустойчивой власти первой расы: это предположение становится еще более правдоподобным из-за очевидного объединения поклонения дорийскому Аполлону в Дельфах и пеласгийской Церере в Фермопилах [81]. Устав лиги был таков: каждый город, входящий в амфикионийское государство, посылал обычно двух депутатов - одного по имени Пилагорас, другого - Иеромнемон. Функции этих двух депутатов, по-видимому, различались, и функции последнего были связаны в большей степени с тем, что касалось религии. В чрезвычайных случаях назначалось более одного пилагора - Афины в свое время отправили не менее трех. Но количество присланных депутатов не меняло числа голосов в совете. Каждый город имел два голоса и не более, независимо от того, сколько делегатов он нанял.

Все депутаты собрались, в Дельфах были принесены торжественные жертвы Аполлону, Диане, Латоне и Минерве, в Фермопилах - Церере. Затем была принесена клятва, форму которой нам сохранил Эсхин.

"Я клянусь, - говорится в клятве, - никогда не подрывать ни один амфикионийский город, никогда не останавливать течения его вод ни в мире, ни в войне. Против тех, кто попытается совершить такое злодеяние, я выступлю с оружием в руках, а города, которые будут так оскорблены, я разрушу. Если на территории бога будет совершено какое-либо опустошение, если кто-либо будет потворствовать такому преступлению, если кто-либо задумает враждебный храму замысел, против них я применю свои руки, свои ноги, всю свою власть и силу, чтобы преступники были преданы наказанию".

За клятвой следовали страшные и торжественные проклятия по поводу любого нарушения этого обязательства.

После этих церемоний один из иеромнемонов [82] председательствовал на совете; ему поручалось собирать голоса, сообщать постановления и созывать общее собрание, которое представляло собой отдельный от совета съезд, созывавшийся только в чрезвычайных случаях и состоявший из жителей и чужестранцев, которых торжественность собрания собирала в окрестностях.

VI. На протяжении всего исторического времени мы не можем проследить в этой лиге ни одной попытки объединиться против агрессии иностранных государств, кроме как в целях сохранения святости храма. Функции лиги ограничивались амфикионийскими племенами, и независимо от того, была ли ее ранняя, неопределенная и неясная цель сдерживать войны между конфедеративными племенами, она не смогла достичь даже этой цели. Ее функции почти полностью сводились к религии. Лига никогда не вмешивалась, когда одно амфикионийское государство проявляло жестокость по отношению к другому, не обуздывая ни амбиций афинского флота, ни жестокости спартанского меча. Но в вопросах религии,

особенно в поклонении Аполлону, собрание поддерживало теоретически высший авторитет, а на практике - двусмысленный и капризный.

Как политический институт, лига имела один порок, который не мог не разрушить ее власть. Каждый город в двенадцати амфикионийских племенах, как самых незначительных, так и самых могущественных, имел одинаковое количество голосов. Это противоречило интересам больших государств (от которых неизбежно зависело его рассмотрение) укреплять или увеличивать его политическое влияние, и поэтому он был спокойно предоставлен своей естественной склонности к священным целям. Как и все институты, наделяющие человека прерогативой бога и влияющие на религиозные, а не гражданские мнения, Амфикионийский совет был не слишком эффективен в благих целях: даже в наказании за святотатство он был достойным и влиятельным только тогда, когда на карту были поставлены интересы Дельфийского храма. Самым известным его вмешательством было вмешательство в дела города Крисса, против которого амфикионы объявили войну в 505 году до н. э.; территория Крисса тогда была посвящена богу храма.

VII. Но если Амфикиония не была эффективна в добре, то не была активна и во зле. Многие причины сговорились предотвратить худшие эксцессы, к которым склонно религиозное господство, - и эта причина в особенности. Он состоял не из отдельного, заинтересованного и постоянного класса, а из граждан, ежегодно избираемых от каждого государства, которые были гораздо больше заинтересованы в благосостоянии своего государства, чем в увеличении власти Амфикионийского совета [83]. Они были жрецами только по случаю - они были гражданами по профессии. Ревность различных государств, постоянная смена делегатов препятствовали той энергии и единству, которые были необходимы для реализации любых устоявшихся замыслов церковных амбиций. Таким образом, реальное влияние Амфикионийского совета было отнюдь не соизмеримо с его громкой славой; а когда во времена Филиппа он стал важным политическим агентом, то лишь как продажный и подневольный инструмент этого способного монарха. И все же она долго продолжала, прикрываясь великим религиозным именем, сохранять вид достоинства и власти, пока во времена Константина не пала на руинах веры, которую стремилась защищать. Вероучение, ставшее преемником дельфийской религии, нашло более могущественное амфикионийское собрание в конклавах Рима. Папский институт обладал именно теми качествами, чтобы направлять энергию государств, диктовать честолобию королей, получать временную власть под духовными предложениями, которых не хватало язычникам.

## ГЛАВА III.

Героическая эпоха - Фесей - его законодательное влияние на Афины - качества греческих героев - влияние традиционной эпохи на характер народа.

I. Как тот, кто путешествует в темноте [84], начинает, в конце концов, видеть, как ночь сменяется туманом и тенью, так что формы вещей, еще неясные и неопределенные, принимают преувеличенные и гигантские очертания, наполовину теряясь среди облаков, - так и сейчас, сквозь неясность басни, мы видим тусклые и могучие очертания ГЕРОИЧЕСКОЙ ЭРЫ. Внимательный и скептический Фукидид в начале своей бессмертной истории оставил нам мастерский портрет нравов тех времен, когда индивидуальная доблесть возводила ее обладателя в ранг полубога; времен неурегулированного закона и нечеткого контроля; приключений, волнений, дерзких качеств и возвышенных преступлений. Мы узнаем в картине черты, знакомые северянам: бродячие воины и короли-пираты, которые рыскали по

морям, спускались на неохраняемые берега и считали грабеж делом чести, напоминают нам о подвигах скандинавского Хер-Конгра и о предвещающих беду знаменах датчан. Моря Греции манили к пиратским приключениям: их многочисленные острова, извилистые бухты и берега, покрытые лесом, предлагали смельчакам достаточную предприимчивость, а хищникам - богатую добычу; плавания были короткими для неопытных, а убежища - многочисленными для побежденных. В ранние века доблесть - истинная добродетель, она делает достойными те занятия, которыми она занимается, и профессия пирата долгое время считалась столь же почетной в Эгейском море, как и среди смелых скитальцев скандинавской расы [85]. Если побережье подвергалось постоянным вторжениям и тревогам, то и внутренние глубины страны не были в большей степени защищены от насилия мародеров. Различные племена, проникавшие в Грецию с целью колонизации или завоевания, вытесняли из своих поселений многих жителей, которые, отступая вверх по стране, поддерживали себя грабежом или мстили за себя бесчинствами. Многочисленные скалы и горы, пещеры и леса, разнообразящие прекрасную землю Греции, служили естественными крепостями для этих варварских орд. Вождь, совершивший убийство или безуспешно стремившийся к неустойчивому трону, уединялся со своими друзьями в каком-нибудь удобном укрытии, совершал набег на окрестные деревни и уводил женщин или стада, как только похоть или нужда побуждали его к этому предприятию. Ни один дом не был безопасным, ни одно путешествие не обходилось без опасности, и греки проводили свою жизнь в доспехах. Так, постепенно, профессия и система разбоя распространились по всей Греции, пока зло не стало невыносимым, пока общественное мнение всех государств и племен, в которых общество установило законы, не было привлечено против вольного разбойника, пока не стало предметом честолюбия избавить окрестности от бедствия, а успех попытки не стал славой авантюриста. Тогда, естественно, возникла раса героев - людей, добровольно вызвавшихся искать разбойника в его владениях, и, по благодарности более позднего времени, мужество рыцаря-отступника было вознаграждено святостью полубога. В то время внутренние обстоятельства в различных государствах - то ли преобладание воинственных эллинов, то ли сопротивление им - постепенно сговорились возвысить военную и свирепую аристократию над остальным населением; а поскольку оружие стало орудием славы и власти, то самые дикие подвиги приводили к самой широкой известности.

II. Леса и горы Греции тогда еще не были очищены от первых грубых аборигенов природы - в их пещерах таились дикие звери, повсюду водились волки, стада диких быков, большие рога которых Геродот называет с восхищением, были обычным явлением; и даже сам лев, уже после нашествия Ксеркса, встречался в широких районах от фракийской Абдеры до акарнанского Ахелуса. Таким образом, подвиги ранних героев, как представляется, были направлены в основном против вольного разбойника или дикого зверя; среди триумфов Геракла - истребление лидийских разбойников, смерть Кака, покорение Немейского льва и Эриманфского вепря.

Сам Геракл является ярким примером этих полезных искателей приключений. Нет сомнений, что принц [86] с таким именем действительно существовал в Греции; под именем Фиванского Геракла его следует тщательно отличать как от бога Египта, так и от мирного Геракла из Финикии [87], чье поклонение было неизвестно грекам до трудов его тезки. Поскольку имя Геракла было дано фиванскому герою (первоначально называвшемуся Алкей) в связи с его подвигами, возможно, его соотечественники распознали в его характере или истории нечто схожее с традиционными рассказами о восточном боге. У первых греков было принято приписывать одному человеку действия, которые он совершал совместно с другими, и репутация Геракла, несомненно, была приобретена не только как предводителя армии, но и

благодаря достижениям его личной доблести. Его слава и успехи вызывали подражание современников, среди которых первенствовал афинянин Тесей.

III. В романе, который Плутарх завещал нам под названием "История Тесея", мы, кажется, читаем легенды наших собственных сказочных рыцарских дней. Приключения Амадиса или Пальмерина не стали ни более рыцарскими, ни более экстравагантными.

Согласно Плутарху, афинский царь Эгей, не имея детей, отправился в Дельфы, чтобы посоветоваться с оракулом, как исправить это несчастье. Ему было велено не приближаться ни к одной женщине, пока он не вернется в Афины; но ответ был составлен в мистических и аллегорических терминах, и добрый царь был скорее озадачен, чем просвещен этим ответом. Тогда он отправился в Трезен, небольшой город в Пелопоннесе, основанный Питфеем из рода Пелопса, человеком, отличавшимся в те времена мудростью и проникательностью. Он передал ему оракул и попросил истолковать его. В божественном ответе было нечто такое, что побудило Питфея вовлечь афинского царя в незаконную связь с его собственной дочерью Аэтрой. Царевна родила ребенка, и перед отъездом из Трезена Эгей положил меч и пару сандалий в углубление, скрытое огромным камнем [88], и оставил Аэтре наказ, что если плод их совокупления окажется ребенком мужского пола и сможет, когда вырастет, убрать камень, то она должна отправить его в Афины с мечом и сандалиями в доказательство его рождения; Ибо у Эгея был брат по имени Паллас, который, имея большую семью сыновей, естественно, рассчитывал в случае неудачи по прямой линии завладеть афинским трон сам или его дети; и царь опасался, что если тайна его связи с Аэтрой будет раскрыта до того, как ожидаемый ребенок достигнет достаточной силы, чтобы защитить себя, то либо изменой, либо убийством сыновья Палласа лишат законного наследника его права на царские почести. Аэтра родила Тесея, и Питфей скрыл бесчестие своей семьи, утверждая, что Нептун, бог, наиболее почитаемый в Троезене, снизошел до того, чтобы стать отцом ребенка: в те времена боги были очень удобными персонажами. Мальчик рос, демонстрируя не меньшую силу тела и благородство ума, и вот настал момент, когда Эфра открыла ему тайну его рождения и привела к камню, скрывавшему признаки его происхождения. Он легко снял его и отправился по суше в Афины.

В то время, как я уже говорил, Грецию заполонили разбойники: Геракл на некоторое время подавил их, но теперь фиванский герой находился у ног лидийского Омфала, а вольные разбойники вновь появились в горных расселинах Пелопоннеса; поэтому путешествие по суше было не только более долгим, но и гораздо более опасным, чем морское путешествие, и Питфей убедительно просил своего внука предпочесть последнее. Но именно опасность пути притягивала юного героя, а слава Геракла долгое время вдохновляла его сны по ночам [89] и мысли днем. Тогда с отцовским мечом он отправился в Афины. Станные и дикие приключения постигли его. В Эпидаврии на него напал знаменитый разбойник, которого он убил и чью дубину сохранил как свое любимое оружие. На Перешейке Синнис, другой разбойник, который привык губить несчастных путников, попадавших к нему на пути, привязывая их к сучьям двух сосен (так что, когда деревья, освободившись, возвращались в свое естественное положение, жертву разрывало на части, конечность за конечностью), был наказан той же смертью, которую он придумал для других; И здесь происходит один из тех анекдотов, которые иллюстрируют романтику того времени и удивительно похожи на рыцарство северных сказок, которое учило почтению к женщинам и вознаграждало улыбками красавиц подвиги смелых. У Синниса, "сгибателя сосен", была дочь, отличавшаяся красотой, которая в страхе перед победителем спряталась среди кустарников и камышей. Тесей обнаружил ее, молясь, как говорит Плутарх, по детской невинности или глупости, растениям и кустам и обещая, если они дадут ей приют, никогда не уничтожать и не сжигать

их. Изящная легенда, напоминающая богатые выдумки Спенсера. Но Тесей нежными словами и успокаивающими клятвами выманил девицу из ее убежища и добился наконец ее любви и награды.

Дальнейшие приключения - покорение Феи, дикой свиноматки (или женщины-разбойницы, названной так из-за жестокости ее жизни), разбойник Сцирон, сброшенный вниз головой с обрыва, Прокруст, распростертый на собственном ложе, - свидетельствовали о мужестве и удаче странника, и наконец он прибыл на берега Кефиса. Здесь его приветствовали фиталиды, священная семья, происходящая от Фитала, возлюбленного Цереры, и он был должным образом очищен от крови убитых им дикарей. Афины были первым местом, где его гостеприимно приняли. Он прибыл в самый подходящий момент: колхидская Медея, пользуясь дурной и волшебной славой, бежала из Коринфа и укрылась у Эгея, чьи привязанности она одурманила. Своим искусством она пообещала ему детей, которые должны были пополнить его неполноценный род, и в полной мере испытала этот эксперимент, став партнершей царского ложа. Но многочисленные сыновья Палласа вряд ли отнеслись бы к этой связи равнодушно, и в городе воцарились раздор и вражда. Медея узнала тайну рождения Тесея и, решив с помощью яда избавиться от того, кто мог бы помешать ее замыслам в отношении Эгея, воспользовалась страхом и ревностью старого царя и уговорила его стать ее соучастником в задуманном преступлении. По обычаю тех гостеприимных времен незнакомке был дан пир. Царь сидел за столом и подносил чашу с ядом, когда Тесей, желая подготовить отца к радостной вести, которую он должен был сообщить, достал меч или тесак, который Эгей сделал знаком своего рождения, и приготовился резать им мясо, поставленное перед ним. Меч привлек внимание царя, он выплеснул яд на землю и после нескольких горячих и быстрых вопросов узнал в намеченной жертве своего сына. Собрался народ - Фесей был признан царем и с радостью принят толпой, которая уже была наслышана о подвигах героя. Традиционное место, куда упал яд, было показано еще во времена Плутарха. Сыновья Палласа плохо восприняли появление и признание этого неожиданного наследника престола. Они вооружили себя и своих сторонников и приготовились к войне. Но одна половина их войска, затаившаяся в засаде, была перебита Тесеем (проинструктированным в своих передвижениях вероломством глашатая), а другая половина, уменьшенная таким образом, вынуждена была рассеяться. Так Тесей остался неоспоримым наследником афинского престола.

IV. Было бы напрасно для историка, но восхитительно для поэта, проследить за этим романтическим героем во всех его предполагаемых предприятиях. Я могу лишь вкратце описать наиболее примечательные из них. Минуя рассказ о том, как он захватил живым дикого быка в Марафоне, я сразу перехожу к экспедиции на Крит, которая неразрывно связана с бессмертными чертами любви и поэзии. Рассказывают, что Андрогей, сын Миноса, прославленного царя Крита, своей доблестью достойный такого царя, был убит в Аттике; некоторые полагают, что из-за ревности Эгея, который, похоже, с необычайным недоверием относился ко всем знатым чужеземцам. В ответ Минос развязал войну, которая опустошила Аттику, и в ее опустошении ему помогали мор и голод. Оракул Аполлона, который часто похвально примирял ссоры князей, завершил поединок, приказав афинянам утихомирить справедливый гнев Миноса. Поэтому они отправили послов на Крит и в знак покорности согласились каждый девятый год посылать дань в виде семи девственниц и семи юношей. Небольшие сношения, существовавшие в то время между государствами, а также возмущенное горе родителей, потерявших своих детей, преувеличили зло, причиненное данью. Афиняне утверждали, что заложники были брошены в запутанный лабиринт и съедены чудовищем, созданием противоестественного совокупления, наполовину человеком, наполовину быком; но критяне, безусловно, лучший авторитет в этом вопросе,

вычеркнули из басни рассказ и заявили, что лабиринт был лишь тюрьмой, в которую заключили юношей и девушек по их прибытии, что Минос устроил игры в честь Андрогеев, а афинские пленники были призом победителей. Первым победителем стал вождь критской армии по имени Тавр, который, будучи свирепым и немилосердным, обращался с приобретенными рабами с особой жестокостью. Отсюда происхождение лабиринта и Минотавра. А Плутарх, давая такое объяснение критянам, ссылается на Аристотеля, чтобы доказать, что посланные таким образом юноши не были преданы Миносом смерти, а оставались на подневольных работах, и что их потомки впоследствии перешли во Фракию и стали называться боттианами. Поэтому мы должны предположить, в соответствии не только с этими рассказами, но и с нравами той эпохи, что дань была просто знаком покорности, а ее получатели рассматривались просто как рабы. [90]

О самом Миносе все сведения неопределенны. Нет достаточных оснований сомневаться ни в его существовании, ни в том, что во время его правления Крит получил большую власть в Греции. Наиболее вероятно, что именно под финикийским влиянием Крит приобрел свою морскую славу; но нет никаких оснований считать самого Миноса финикийцем.

После возвращения Тесея наступило время, когда нужно было снова платить дань Криту. Народ роптал от недовольства. "Это вина Эгея, - говорили они, - которая вызвала гнев Миноса, но только Эгей избежал наказания; их законные дети были принесены в жертву критскому варварству, но сомнительный и незаконнорожденный чужеземец, которого усыновил Эгей, остался цел и свободен". Тесей великодушно утихомирил народные волнения: он настоял на том, чтобы его самого включили в число семи.

V. Дважды уже отправляли эту человеческую дань на Крит, и в знак жалкой и отчаянной судьбы, которая, согласно вульгарному поверью, ожидала жертв, к кораблю прикрепляли черный парус.

Но на этот раз Эгей, воодушевленный бодрым доверием сына, дал лоцману белый парус, который тот должен был поднять, если по возвращении он доставит Тесея в целости и сохранности; если же нет, то черный снова должен был стать предвестником более несчастной судьбы. Вероятно, Тесей не относил это к числу самых опасных своих приключений. При дворе мудрого Питфея или во время своих странствий он, несомненно, достаточно слышал о характере Миноса, самого великого и проницательного монарха своего времени, чтобы убедиться, что сыну афинского царя не стоит опасаться его суровости. Он прибыл на Крит и добился любви Ариадны, дочери Миноса. Далее следует множество противоречивых рассказов, наиболее вероятные и наименее поэтичные из которых приводит Плутарх; но поскольку он завершает их замечанием, что ни один из них не является достоверным, нет нужды повторять их: достаточно сказать, что с согласия Миноса или без него Тесей отплыл с Крита в компании с Ариадной и что тем или иным способом он освободил афинян от уплаты привычной дани. Поскольку очевидно, что с теми ничтожными силами, с которыми, по общему мнению, он отплыл на Крит, он не смог бы покорить могущественного Миноса в его собственном городе, то разумно заключить, как гласит одна из традиций, что царь согласился на его союз с дочерью и, в результате этого брака, отказался от дальнейших претензий на дань афинян. [91]

Столь же туманна судьба любящей Ариадны; но наименее вероятным представляется предположение, что Тесей был изгнан бурей на Кипр или Наксос, а Ариадна, будучи в то время беременной и заболевшей от буйства волн, была оставлена на берегу своим возлюбленным, когда он вернулся, чтобы заняться своим судном; она умерла в утробе матери, и Тесей, вернувшись, был сильно огорчен и учредил ежегодный праздник в ее честь.

Хотя мы принимаем историю, наиболее вероятную саму по себе и наиболее достойную характера афинского героя, мы не можем сожалеть о разнообразной романтике, переплетенной с историей несчастной критянки, поскольку она дала нам некоторые из самых прекрасных изобретений поэзии; Лабиринт, освещенный любовью Ариадны, критская дева, покинутая незнакомцем, с которым она бежала, оставленная брошенной и одинокой на накийском берегу и утешенная Вакхом и его оравой сатиров.

VI. Прежде чем прибыть в Афины, Тесей отдохнул на Делосе, где, как говорят, он учредил игры и завел обычай увенчивать победителя пальмой. Тем временем Эгей ждал возвращения своего сына. Сидя на Кекропиевой скале, которая пока еще обращена к морю, он наблюдал за приближением судна и взмахами белого паруса: вот показались мачты, вот корабль приближается, а белого паруса не видно: в радости и нетерпении возвратившейся команды лоцман забыл поднять назначенный сигнал, и старик в отчаянии бросился со скалы и разбился вдребезги. Тесей воспринял известие о смерти отца с печалью и плачем. Его триумф и возвращение были отмечены периодическими празднествами, на которых обычно упоминалась судьба Эгея, а судно с тридцатью веслами, на котором он отплыл на Крит, сохранилось у афинян до времен Деметрия Фалерийского - его так часто переделывали и ремонтировали, что оно послужило любимым тезисом для философских споров, было ли это то же самое судно, что и у Тесея.

VII. Обладая верховной властью, Тесей теперь склонил свой гений к законодательной работе, и в этой части его жизни мы ступаем на более твердую почву, потому что самые рассудительные из древних историков [92] прямо приписывают сыну Эгея те постановления, которые так способствовали укреплению силы и союза афинского народа.

Хотя Хекропс, как говорят, объединил племена Аттики под единым управлением, следует помнить, что он разделил территорию на двенадцать округов с крепостью или столицей в каждом. Постепенно эти районы все больше и больше отдалялись друг от друга, и во многих чрезвычайных ситуациях было трудно добиться общего собрания или общего согласия народа; кроме того, между племенами часто возникали разногласия, которые улаживались не как между простыми гражданами, с помощью закона, а как между ревнивыми врагами, с помощью оружия и кровопролития. Главной политикой Тесея было объединение этих мелких государств в единое государство. Он обращался лично и с помощью всего искусства убеждения к каждому племени: бедняки были готовы выслушать приглашение, обещавшее им кров города и защиту единого правительства от бесчинств многих тиранов; богатые и могущественные ревностнее относились к своей независимой, разрозненной и, так сказать, феодальной жизни. Но их он пытался примирить обещаниями, которые не могли не польстить тем самым предрассудкам свободы, которые, естественно, поначалу побуждали их противиться его замыслам. Он присягнул на верность конституции, которая должна была оставить власть в руках многих. Сам он, как монарх, желал лишь командовать на войне, а в мирное время опекать законы, которым он был обязан подчиняться в равной степени. Одни поддавались его уговорам, другие - страху перед его властью, и в конце концов он добился своего. По общему согласию он распустил городские корпорации и советы в каждом отдельном городе и построил в Афинах один общий пританеум или зал совета, существовавший еще во времена Плутарха. Он объединил разбросанные улицы и дома цитадели и нового города, выросшего на равнине, под общим названием "Афины" и учредил праздник Панафиней в честь богини-хранительницы города и в память о конфедерации. Придерживаясь своих обещаний, он установил строгие и узкие пределы царской власти, создал под именем евпатридов, или хорошо рожденных, наследственную аристократию, а остальной народ разделил на два сословия (земледельцев и механиков). Забота о религии,

разъяснение законов и должности магистратов были привилегией знати. Таким образом, он заложил основы свободной, хотя и аристократической конституции - по словам Аристотеля, он первым отказался от абсолютной власти царской семьи и получил от риторичного Исократа похвалу, что это соревнование, кто больше даст, народ власти или царь свободы. Поскольку обширное население необходимо могущественному государству, Тесей пригласил в Афины всех чужеземцев, желающих воспользоваться его покровительством, предоставив им равную безопасность жизни и закона; территорию государства он обозначил границей столба, воздвигнутого на перешейке и отделяющего Ионию от Пелопоннеса. Истмийские игры в честь Нептуна также были изобретением Тесея.

VIII. Таковы сведения о законодательных постановлениях Тесея. Но многое из них мы должны отвергнуть. На основании рассказа Фукидида мы можем полагать, что ревность между некоторыми аттическими городами, которые могли обладать или претендовать на независимость, никогда полностью не уничтоженную Хекропсом и его преемниками, и которую поселение иностранцев различных племен и привычек должно было усилить, была настолько прекращена, что побудила подчиниться признанному верховенству Афин как аттической столицы; И что право правосудия и даже законодательства, которое прежде было прерогативой каждого отдельного города (к явному ослаблению верховной и царской власти), теперь было сосредоточено в общем здании совета Афин. В Афины, как в столицу, отправлялись евпатриды Аттики в качестве общей резиденции [93]. Город рос в численности населения и значении, и с этого времени Фукидид датирует расширение древнего города за счет Нижнего города. В то, что Тесей добровольно ослабил царскую власть, верить не приходится. В героическую эпоху возник воинственный род, которым ни один греческий монарх не пытался самовольно управлять в мире, хотя на войне они беспрекословно подчинялись его власти. Находясь на только что завоеванном и неопределенном троне, Тесей по необходимости, а также в соответствии с политикой, должен был примириться с самыми могущественными из своих подданных. Можно также признать, что он более строго определил различия между знатью и остальными сословиями, будь то старшины или крестьяне, механики или чужеземцы; записано, что почести и законодательные дела были уделом эвпатридов. Возможно, народ время от времени созывался, но очевидно, что его участие в управлении государством было незначительным, если вообще имело место. Но одного лишь создания и утверждения могущественной аристократии, а также простого сбора населения в столице было достаточно, чтобы подготовить почву для гораздо более демократических институтов, чем предполагал или задумывал сам Тесей. В течение последующих столетий в Афинах правила олигархия, но, будучи свободной, эта олигархия сохраняла в своей монополии принципы свободы, расширяя их влияние по мере развития общества. Афинская демократия не была древней, но и не была внезапной конституцией. Она развивалась медленно, бессознательно, непрерывно, проходя по отведенной ей орбите царскую власть, олигархию, аристократию, тимократию, тиранию, пока, наконец, не достигла своего ослепительного зенита, вспыхнула, угасла и исчезла.

После успешного завершения его законодательных попыток мы вновь слышим о Тесее не столько как о монархе истории, сколько как о герое песен. На этих более поздних традициях, которые относятся к басням, нет необходимости останавливаться. Наш собственный *Coeur de Lion* не вызывает сомнений в сходстве с духом, брошенным во времена еще более дикие и предприимчивые, и, не ища толкований, в соответствии с модой аллегории или системы, каждой легенды, можно выдвинуть самую простую гипотезу, что Тесей действительно отправился на поиски приключений из владений, которые не давали возможности для

отчаянных и жадных амбиций; и что нечто истинное скрывается под многими из богатых прикрас, которые его странствия и подвиги получили от буйной поэзии и грубой достоверности того века. Во время его отсутствия Менестей, представитель царского рода Аттики, который, как просто говорит нам Плутарх, был первым из людей, взявшим на себя профессию демагога, сблизился с народом, точнее, с вельможами. Отсутствие царя всегда является питательной средой для волнений, и Менестею удалось собрать против героя столь мощную фракцию, что по возвращении Тесей не смог сохранить за собой власть и, излив торжественное проклятие на афинян, удалился на Скирос, где либо случайно упал с обрыва, либо был сброшен вниз царем. Сначала его смерть не вызвала особого интереса; впоследствии, чтобы умиротворить его призрак и искупить его проклятие, его памяти были возданы божественные почести; а в самый пышный век его потомков его предполагаемые останки, обозначенные орлом в скелете человека гигантского роста, с медным копьем и мечом на боку, были привезены в Афины на галере Кимона, приветствуемые криками радостной толпы, "как будто живой Тесей пришел снова".

Х. Я не совсем отбросил, хотя и сократил, легенды, связанные с героем, который, несомненно, оказал значительное влияние на свою страну и свое время, потому что в этих легендах мы лучше, чем это можно было бы сделать с помощью скучных толкований, столь же неудовлетворительных, хотя и более прозаичных, прослеживаем образ героического века - не без иллюстраций поэзии и романтики, которые одновременно сформировали и обозначили важные черты в характере афинян. В национальном духе каждого народа, даже в самые цивилизованные эпохи, многое зависит от влияния той эпохи, которую можно назвать героической. Дикие искатели приключений ранней Греции имели тенденцию к очеловечиванию даже в своих крайностях. Правда, есть много примеров их суровости, свирепости и мести; они были наглыми от сознания превосходящей силы; часто жестокими от презрения к жизни, свойственного воинственным людям. Но темная сторона их характера представляется нам гораздо реже, чем светлая. Похоже, они были способны на великодушные чувства с большей готовностью, чем любая другая воинственная раса в столь грубую эпоху. Их привязанности были столь же пылкими, как и их ненависть, их дружба была более примечательной, чем их вражда. Даже их свирепость не была, как у скандинавских героев, добродетелью и хвастовством - общественное мнение почитало сострадательных и милосердных. Так, говорят, что Геракл первым ввел обычай отдавать врагу трупы своих убитых; а мягкость, справедливость и вежливость - не меньшие его атрибуты, чем непобедимая сила и непоколебимая храбрость. Путешествуя по разным землям, эти паладины старшего рыцарства приобретали опыт различных правительств и обычаев, что помогало им по возвращении отшлифовать и облагородить восхищенные племена, которые украшали их достижения. Подобно рыцарям северного мифа, их долг состоял в том, чтобы наказать угнетателя и возместить ущерб обиженным, и таким образом они закрепили в дикой стихии неустойчивых мнений признанный стандарт великодушия и справедливости. Их деяния стали темой для поэтов, которые стремились приукрасить их добродетели и смягчить проступки. Таким образом, определенные образцы, не совсем чистые или превосходные, но обладающие многими из тех качеств, которые облагораживают национальный характер, были поставлены перед подражанием стремящихся и молодых: традиционная слава Геракла или Тесея помогала вдохновлять души тех, кто спустя века разбил медяков при Марафоне и задержал персидскую мощь в Фермопилах. Ибо, как дух поэта влияет на судьбу и характер народов, так и само ВРЕМЯ имеет свою поэзию, предшествуя и вызывая поэзию человеческого гения, и вдохновляет, воображаемое и нетленное, великие деяния и гигантские образы эпохи предков и традиций.

## ГЛАВА IV.

Преемники Тесея - Судьба Кодруса - Эмиграция Нила - Архонты - Драко.

I. Предполагаемый период Троянской войны следует вплотную за эпохой Геракла и Тесея; Менестей, сменивший последнего на афинском троне, повел своих соотечественников на бессмертную войну. Плутарх и последующие историки не преминули обратить внимание на выражение Гомера, в котором он применяет слово *demus* или "народ" к афинянам, как доказательство народного правления, установленного в этом государстве. Но хотя эта строка считается интерполяцией, по крайней мере, до времен Солона, мы можем заметить, что она никогда не использовалась Гомером в том народном и политическом смысле, который она получила впоследствии. И он применяет ее не только к Афинскому государству, но и к Итаке, которая, конечно, не была демократией. [94]

Царь-демагог, судя по всему, был человеком с большой воинской славой и мастерством, и упоминается как первый, кто собрал армию в ряды. Вернувшись из Трои, он умер на острове Мелос, и его сменил Демофонт, один из сыновей Тесея, который также сражался с греческой армией во время троянской осады. В его время спор между афинянами и аргивянами был передан на рассмотрение пятидесяти арбитров от каждого народа, называемых эфетами, что послужило началом так называемого суда, который впоследствии был восстановлен с новыми полномочиями Драконом.

Демофону наследовал его сын Оксинт, а Оксину - Афидас, убитый своим внебрачным братом Фимаэтом. Тимаэт был последним из рода Тесея, правившего в Афинах. Между беотийцами и афинянами возник спор о границах их территорий; было предложено решить его в единоборстве между Тимаэтом и царем беотийцев. Тимаэт отказался от поединка. Мессенский изгнанник по имени Меланф принял его, хитростью убил своего противника и, свергнув трусливого афинянина, получил власть в Афинах. Вместе с Мелантом, который происходил из рода Нестора, в Афины прибыли два вельможи из одного дома, Паэон и Алкмеон, которые стали основателями Паэонидов и Алкмеонидов, двух могущественных семей, чьи имена часто встречаются в последующей истории Афин, и которые, если и не создали новый порядок знати, то, по крайней мере, стремились ограничить своими семьями основные привилегии того, который был установлен.

II. На смену Меланту пришел его сын Кодр, человек, чья слава находила больше конкурентов в римской, чем в греческой истории. Во время его правления дорийцы вторглись в Аттику. Дельфийский оракул заверил их в успехе при условии, что они не убьют афинского царя. Узнав об этом, Кодр переоделся крестьянином и, отправившись к вражеским войскам, поссорился с некоторыми воинами и был убит ими недалеко от берегов Илисса [95]. Афиняне послали требовать тело своего царя, а дорийцы, уже не надеясь на успех, так как условие оракула было нарушено, разбили свой лагерь и отказались от своего замысла. Некоторые из дорийцев уже ночью тайно проникли в город и укрылись в его стенах; но когда рассвело, и они обнаружили, что покинуты своими соратниками и окружены врагом, они бежали в Ареопаг и к алтарям фурий; убежище было признано неприкосновенным, и дорийцы ушли невредимыми - доказательство того, что обряды святилища уже вызывали благоговение [96]. Тем не менее, это вторжение сопровождалось успехом того, что могло быть главной целью захватчиков. Мегара [97], которая до этого была связана с Аттикой, теперь была захвачена дорийцами и впоследствии стала колонией Коринфа. Это доблестное, но мелкое государство оказало значительное влияние на некоторые из ранних событий афинской истории.

III. Кодр - последний из афинских царей. Афиняне ссылались на мотивы благоговения перед его памятью как на предлог для того, чтобы запретить прославленному мученику иметь недостойного преемника. Но аристократическая конституция была морально укреплена исчезновением рода Тесея и ревностью к чужому роду, и упразднение монархии было вызвано скорее честолюбием знати, чем народным почитанием патриотизма Кодра. Имя царя было заменено на имя архонта (магистрата или правителя); престолонаследие по-прежнему оставалось наследственным, но власть правителя была поставлена в новые рамки, и он был обязан предоставлять народу, а точнее евпатридам, отчет о своем правлении, когда они сочтут нужным его потребовать.

IV. Медон, сын Кодра, был первым из этих вечных архонтов. В ту эпоху телесная сила все еще считалась важнейшим достоинством вождя; и Нилей, младший брат Медона, попытался сместить архонта не иначе, как по причине его хромоты.

Большая часть народа воспользовалась ссорой между братьями, чтобы заявить, что у них не будет другого царя, кроме Юпитера. В конце концов Медон прибег к помощи оракула, который принял решение в его пользу, и Нилей со всеми младшими сыновьями Кодра, сопровождаемый многочисленным войском, отбыл из Афин и колонизировал ту часть Малой Азии, которая в истории известна под названием Иония. О росте, силе и влиянии этих азиатских колоний мы расскажем при удобном случае. Правление Медона, освобожденное от более бурных духов своего времени, было процветающим и популярным; это была эпоха в древнем мире, когда было обнаружено, что хромота правителя не связана с его интеллектом! Затем следует длинная череда архонтов - мирных и безвестных. За период, исчисляемый тремя сотнями лет, афиняне совершили мало того, что дошло до потомков - лишь краткие сообщения о мелких стычках и пустяковых раздорах с соседями разнообразят этот большой промежуток. Тем временем ионийские колонии стремительно набирают известность и могущество. В конце концов, после смерти Алкмеона - тринадцатого и последнего вечного архонта - в правительство были внесены новые, более популярные изменения. Срок правления архонта был ограничен десятью годами. Это изменение постепенно подготовило почву для еще более важных перемен. До сих пор эта должность принадлежала только двум домам Нелеидов - Кодру и Алкмеону; при архонте Гиппомене она была открыта для других знатных семей; И в конце концов, после смерти Эриксия, последнего из рода Кодров, неудача этого древнего дома по прямой линии (косвенно она все еще продолжалась, и кровь Кодров текла в жилах Солона), вероятно, дала повод и основание для отмены вложения верховной власти в одного магистрата; было назначено девять, каждый с титулом архонта (хотя это имя было более выразительным для главы ряда), и каждый с отдельными функциями. Этот институт просуществовал до последних дней афинской свободы. Это изменение произошло в 24-ю Олимпиаду.

V. В 39-ю Олимпиаду Дракон, будучи главным архонтом, был назначен для введения новых законов в 621 году до нашей эры. Это был человек, о котором история необычайно кратка; мы знаем только, что он был добродетельным и строгим, что он написал большое количество стихов, столь же недолговечных, как и его законы [98]. Что касается последних - когда мы узнаем, что они были суровыми и кровавыми, не имеющими прецедентов, - нам нетрудно поверить, что они были неэффективными.

VI. Я поспешил преодолеть этот двусмысленный и неинтересный период с быстротой, которую, полагаю, простят все, кроме антикваров. До сих пор мы находились в стране теней, теперь мы приближаемся к свету. Пустые имена апокрифических существ, которые мы перечислили, по большей части являются как призраки, столь смутно видимые, что, вероятно, являются галлюцинациями, вызванными в угоду причудливому любопытству, но

без объекта, чтобы удовлетворить причину или оправдать явление. Если меня обвиняют в том, что я не подражаю тем, кто пытался, сплетая воедино разрозненные намеки и тонкие догадки, создать историю из легенд, опрокинуть то, во что верили, с помощью систем, столь же противоречивых, хотя и более искусно сфабрикованных; -Если мне скажут, что я мог бы сделать так, чтобы хроника, приведенная вкратце, занимала больше места и сверкала более новыми догадками, я отвечу, что пишу историю людей, а не имен - народа, а не ученых, и что никакие исследования, какими бы тщательными они ни были, никакие догадки, какими бы гениальными они ни были, не могут вывести никакой реальной или твердой морали из записей, которые оставляют нас в неведении как о характерах людей, так и о причинах событий. Какая разница, кем был Ион или откуда произошло первое поклонение Аполлону? Какое значение имеют революции или династии за десять или двенадцать веков до того, как Афины вышли из заслуженной безвестности? Они не оказали никакого влияния на ее последующее величие; загадки, которые невозможно решить, если и решаются, то лишь как схоластические фrivольности.

К счастью, как только мы хотим узнать историю народа, так и афиняне становятся народом, и мы сразу переходим от традиции к истории.

Я делаю паузу, чтобы вкратце рассмотреть состояние остальной Греции до эпохи Солона.

## ГЛАВА V.

Общий обзор Греции и Востока до эпохи Солона. - Греческие колонии. - Острова. - Краткий рассказ о государствах на континенте. - Элида и Олимпийские игры.

I. На севере Греция отделена от Македонии Камбунскими горами; на западе простирается Ионическое, на юге и востоке - Эгейское море. Его наибольшая длина составляет двести двадцать географических миль, наибольшая ширина - сто сорок. Никакой контраст не может быть более поразительным, чем то пятнышко земли, которое Греция занимает на карте мира, по сравнению с тем местом, которое греческое влияние заняло в истории человеческого разума. В самом этом контрасте заключается мораль, которую оставила нам Греция, - ни один томик не может более выразительно описать триумф интеллектуального над материальным. Но как нации, подобно отдельным людям, не становятся прославленными только благодаря своим физическим пропорциям; как в обоих случаях слава имеет свои моральные источники; так и при изучении причин, которые привели к известности Греции, мы перестаем удивляться незначительности ее территорий или блеску ее славы. Даже в географическом отношении природа наделила страну эллинов дарами, которые с лихвой искупали узость ее границ. Самая южная часть европейского континента, она заключала в себе все преимущества моря и суши; ее почва, хотя и неравноценная по своему продукту, по большей части плодородна и обильна; ее пересекают многочисленные потоки и защищают цепи гор; ее равнины и долины приспособлены для всех продуктов, наиболее необходимых для поддержания человеческого рода; а солнце, смягчающее плоды природы, достаточно закалено, чтобы не ослаблять энергию человека. Омываемая с трех сторон морем, широкая и извилистая полоса побережья рано способствовала развитию духа предпринимательства, а бесчисленные заливы и гавани предлагали все возможности для стремления к наживе, которая является родителем торговли и основой цивилизации. В тот период, когда Греция возвысилась, она находилась в самом центре наиболее развитых и процветающих государств Европы и Азии. Внимание ее ранних искателей приключений было направлено не только на берега Италии, но и на великолепные города Востока, а также на мудрые и древние институты Египта. Если у других народов они заимствовали меньше, чем принято считать, то одного только общения с ними было достаточно, чтобы стимулировать и развивать

способности подражательного и молодого народа; в то время как дух свободы вспыхнул во всех греческих государствах, порождая беспокойную конкуренцию как между гражданами в каждом городе, так и городов между собой, ни одной энергии не было позволено спать, пока деятельность интеллекта, вечно возбужденного и никогда не калечимого, не привела всеобщую цивилизацию к ее высотам. Сама природа установила границы рек и гор в соответствии с границами нескольких государств: малость каждого концентрировала силу в фокусе, количество всех усиливало подражание до лихорадки. Поэтому греческие города имели преимущество перед всеми остальными народами: вечное столкновение умов, вечное общение с многочисленными соседями, с которыми интеллект постоянно работал, с которыми эксперимент не знал покоя. Греция, взятая в совокупности, была единственной свободной страной (за исключением финикийских государств и колоний, возможно, столь же цивилизованных) посреди просвещенных деспотий; и в древнем мире деспотизм изобретал и укрывал искусства, которые свобода усовершенствовала и улучшила [99]: При таком рассмотрении ее величие перестает удивлять - сама узость ее владений была главной причиной его, а к самым благоприятным обстоятельствам природы добавились обстоятельства самого благоприятного времени.

Если до эпохи Солона мы изучим историю Азии, то обнаружим, что эта часть земного шара подвергалась великим и ужасным революциям, которые ограничивали и сдерживали власть различных деспотий. Ее империи, по большей части построенные в результате успешных вторжений племен кочевников, содержали в своей обширности элементы распада. Ассирийская Ниневия была завоевана вавилонянами и мидянами (606 г. до н. э.), а Вавилон под властью новой халдейской династии стал доминировать в западной Азии. Медийская монархия едва оправлялась от натиска варваров, а Кир еще не успел утвердиться на троне Персии. В Малой Азии, правда, Лидийская империя достигла большого богатства и роскоши и была самым грозным врагом азиатских греков, но она служила их цивилизации, хотя и внушала страх. Торговые и предприимчивые финикийцы, предчувствуя поход вавилонского царя, который "дал совет против Тира, города-венца, чьи купцы - князья, чьи торговцы - почетные люди земли", во все времена были лишены желания завоевать страну из-за своих разделенных государств [100], грозных соседей и торговых привычек.

В Египте древний характер претерпел большие изменения; великолепной династии фараонов больше не было. Империя, раздробленная на олигархию из двенадцати князей, была вновь объединена под скипетром одного из них мечами греческих наемников (616 г. до н. э.); а Неко, сын узурпатора, человек могучего ума и обширных замыслов, хотя он уже приправил старые египетские обычаи духом финикийских и греческих авантюр, нашел свое поле деятельности только на Востоке (побеждает Иосию до н. э. 609 г.). Пока же ни один внешний враг не нарушал раннего подъема нескольких греческих государств; они спокойно и безмятежно формировали свои индивидуальные границы и продвигались к той точке между социальными удобствами и рыцарским мужеством, когда, хотя война встречается наиболее сурово, она наиболее быстро просвещает. Мир, который следует за первой войной получившей цивилизованной нации, обычно является великой эпохой ее интеллектуального расцвета.

II. В это время колонии в Малой Азии были далеко продвинуты в цивилизации за пределами греческого континента. Вдоль западного побережья этого восхитительного района - на более плодородном берегу, под более ярким небом, чем в родительских государствах, - эолийцы, ионийцы и дорийцы в более отдаленную эпоху заложили поселения и основали города (вероятно, это началось при Пентилии, сыне Ореста, около 1068 г. до н. э.). Эолийские колонии (результат дорийских переселений) [101] занимали побережье начатых Мисии и

Карии - на материке двенадцать городов, самыми известными из которых были Ким и Смирна, а также острова Геккатоннеси, Тенедос и Лесбос, последний из которых прославился больше других и был освящен музами Сапфо и Алкея. У них также были поселения на горе Ида. Их различные города были независимы друг от друга, но Митилена на острове Лесбос считалась их общей столицей. Торговля Митилены была обширной, а ее флот - грозным.

Ионийские колонии (возникшие, вероятно, около 988 г. до н. э.), основанные впоследствии эолийских, но также (хотя и не сразу) ставшие следствием дорийской революции, были заселены не только ионийцами, но и различными народами, возглавляемыми сыновьями Кодры. На островах Самос и Хиос, на южном побережье Лидии, где на севере простирается Кария, они основали свои сладострастные поселения, известные под названием "Иония". Их городами были Миус, Приена, Колофон, Эфес, Лебеда, Теос, Клазомены, Эритрея, Фока и Милет: на островах Самос и Хиос было два города с тем же названием, что и сами острова. Главным из ионийских городов в то время, о котором мы рассказываем, и уступавшим в торговле и цивилизации, пожалуй, только великим финикийским государствам, был знаменитый Милет, основанный сначала карийцами и возвышенный до своей славы ионийцами (флотское владычество Милета началось в 750 г. до н. э.). Ее улицы были рынком мира; вдоль Эвксинского моря и Палус Мазотис ее корабли заходили в гавани сотни ее колоний. Здесь вспыхнул первый свет греческой философии. Но, уступая этому императорскому городу, каждый из ионийских городов имел свое право на славу. Здесь уже процветали и музыка, и искусство, и песня. Торговля Фоки простиралась до берегов Италии и Галлии. Эфес еще не поднялся до своего меридиана - он был преемником Милета и Фокеи. Эти ионийские государства, каждое из которых было независимо от другого, объединяло общее святилище - Паниониум (храм Нептуна), который можно было увидеть вдали на мысе Микале, ставшем впоследствии свидетелем одного из самых гордых подвигов греческой доблести. Будучи долгое время свободной, Иония стала данницей лидийских царей, а затем и великой персидской монархии.

На островах Кос и Родос, а также на южных берегах Карики распространились дорийские колонии, которые впоследствии были заселены ионийцами путем постепенной иммиграции. Если по значению и богатству эолийцы уступали ионийским колониям, то дорийские колонии уступали эолийским. Шесть городов (Ялисус, Камирус и Линдус на Родосе; Кос, город, названный по имени острова; Книд и Галикарнас на материке) были объединены, как и ионийцы, общим святилищем - храмом Аполлона Триопиуса.

Кроме этих колоний - Черное море, Палус Мазотис, Пропонтис, побережье Нижней Италии, восточные и южные берега Сицилии [102], Сиракузы, могущественнейшее из греческих детищ, и дочь Коринфа - африканская Кириная, - не считая поселений, которые, вероятно, относятся к более позднему времени, свидетельствуют об активном духе и широком мореплавании ранней Греции.

Столь обширная и процветающая колонизация неизбежно оказала огромное влияние на моральный и интеллектуальный дух родной земли. Семена, разбросанные по земле, принесли свои урожаи в ее житницу.

III. Среди греческих островов слава Миноса уже давно ушла с Крита (около 800 г. до н. э.). Монархическая форма правления уступила место республиканской, но в ее худшей форме - олигархической. Но старые критские институты все еще сохранялись в привычках частной жизни, а ревность и беспорядки нескольких городов, каждый из которых был независим,

истощили в себе те силы, которые, будучи правильно сконцентрированными и мудро направленными, могли бы поставить Крит во главе Греции.

Кипр, одинаково благоприятный по положению с Критом и цивилизованный постоянным влиянием финикийцев, некогда его хозяев, был привязан к своей независимости, но не склонен к военным действиям. Он, как и Крит, был примером государства, которое, казалось, не осознавало, какие возможности для командования и власти оно получило от природы. Остров Корсира (коринфская колония) еще не достиг своего дня могущества. Он был отложен на тот период, когда после персидской войны он сменил олигархическое правление на демократическое, которое, в сущности, истерло величие страны в борьбе за господство, упорно и фатально сопротивлявшееся антагонистическому принципу.

Из Кикладских островов - этих прекрасных дочерей Крита - наиболее выдающимся был Делос, священный Аполлоном и принадлежавший в основном ионийцам. Но Парос мог похвастаться не только мраморными карьерами, но и доблестью своих жителей, и пламенной песней Архилоха.

Эвбея, соседняя с Аттикой, имела два главных города, Эретрию и Халкис, управляемых, по-видимому, тимократиями и часто воюющих друг с другом. Хотя Эвбея имеет большое значение для последующей истории Афин, и хотя колонизация Халкиса была значительной, слава Эвбеи едва ли соответствовала ее масштабам как одного из крупнейших островов Эгейского моря; она была намного меньше маленькой и скалистой Эгины - соперницы Афин и в это время превосходящей ее по морской мощи и коммерческой предприимчивости. Колонизированная Эпидавром, Эгина вскоре стала независимой, но насилие партий и власть олигархии, подпитывая ее энергию, подготовили ее падение.

IV. Поскольку в этой работе я намерен описать только взлет и падение афинян, то в настоящее время я не сочту нужным более подробно рассматривать состояние греческого континента до времен Солона. Одна лишь Спарта потребует более внимательного изучения.

Заняв позицию на цитадели Афин, мы видим, далеко выступающую в море, соседнюю страну Мегарис с городом Мегара. Изначально она управлялась двенадцатью царями; последний, Гиперион, был убит, делами страны управляли магистраты, и это была одна из самых ранних стран Греции, принявших республиканские институты. Тем не менее, во время правления ранних царей Аттики она была подчинена им [103]. Мы видели, как дорийцы впоследствии отвоевали ее у афинян [104]; и она вела долгие и частые войны за сохранение своей независимости от дорийцев Коринфа. Около 640 года могущественный гражданин по имени Теаген вырвал верховную власть у суровой аристократии, которую завещали дорийские завоеватели, хотя иго Коринфа было сброшено. Тиран - так называли успешного узурпатора - был впоследствии свергнут, а демократическое правительство восстановлено; и хотя эта демократия была одной из самых беспокойных в Греции, это не помешало маленькому государству оказаться в числе самых ярких участников персидской войны.

V. Между Аттикой и Мегарисом мы видим остров Саламин, право на который оспаривают и Афины, и мегаряне.

VI. Обратившись теперь к земле, мы видим, что на границе с Аттикой, от которой ее отделяет гористая местность, находится мифологическая Беотия, владения финикийца Кадма, родина Полиника и Эдипа. Здесь возвышаются вековые горы Геликон и Китаэрон - обиталище муз; здесь Пенфей пал под неистовым натиском вакханок, а Актеон пережил гнев богини леса; Здесь возвышались стены Фив под гармонию лиры Амфиона, и все еще, во времена Павсания, фиванцы показывали, к восхищению путешественника, место, где Кадм посеял

семя дракона, изображения ведьм, посланных Юноной, чтобы продлить муки Алкмены, деревянную статую, сделанную Дедалом, и покои Гармонии и Семелы. Ни одна земля не была так освящена золотыми легендами поэзии, и ни один народ Греции не был так жив к поэтическому вдохновению. Преданные, по большей части, пастушеским занятиям, беотийцы подвергались насмешкам со стороны своих оживленных соседей за инертный и вялый нрав - упрек, который не смогли отразить ни песни Гесиода и Пиндара, ни слава Фив и Платеи. Уже в двенадцатом веке (до н. э.) царская власть в Беотии была упразднена, ее территория была разделена на несколько независимых государств, главным из которых были Фивы, а Платея и Херонея - следующими по значимости. Каждое из них имело свое собственное правительство; до Персидской войны в этих государствах господствовали олигархии. Они были объединены в лигу, главой которой были Фивы; но честолюбие и власть этого города держали остальных в постоянной ревности и ослабляли общим страхом и плохо скрываемыми раздорами страну, которая по размерам своих территорий [105] и количеству жителей должна была стать главной державой Греции. Ее делами управляли одиннадцать магистратов, или беотархов, избираемых на четырех собраниях, проводившихся в четырех округах, на которые была разделена Беотия.

VII. За пределами Беотии находится Фокис, первоначально колонизированный, согласно народной традиции, Фокусом из Коринфа. Вскоре после дорийского нашествия монархия была упразднена, и на смену ей пришли республиканские институты. В Фокисе было более двадцати государств, независимых от общего фокийского правительства, но объединенных в конгресс, который проводился в установленное время на дороге между Даулисом и Дельфами. В состав Фокиса входили также город Крисса с гаванью и прилегающей территорией, населенной свирепыми пиратами, и священный город Дельфы на юго-западе Парнаса.

VIII. О дельфийском оракуле я уже говорил - теперь остается только указать читателю на важную политическую причину его возвышения. Он был уже давно основан, но не имел блестящей известности, когда произошла та дорийская революция, которую называют "Возвращением Гераклидов". Дорийские завоеватели в начале своего пути руководствовались советами дельфийского оракула, который, как оказалось, искусно благоприятствовал их притязаниям и который, примыкая к провинции Дорис, внушал им благоговение и, возможно, испытывал к ним благосклонность священного соседа. Их окончательный триумф не только придал оракулу поразительный и высший авторитет, но и обеспечил защиту и уважение расы, ставшей теперь самой могущественной в Греции. С тех пор ни один дорийский город не брался за дело, не посоветовавшись с пифией; пример стал общим, и святилище божества обогатилось подношениями не только от благочестивой Греции, но и от доверчивого благоговения варварских царей. Пожалуй, хотя впоследствии богатство Дельф было еще больше, их авторитет никогда не был столь непререкаем, как в период, начиная примерно со столетия, предшествовавшего законам Солона, и до конца Персидской войны. Дельфы были полностью независимым государством, управляемым жесткой аристократией [106]; и хотя их защищал Амфикиционный совет, они не получали от своей власти ни одного из тех надменных наставлений, которыми защитники современной церкви часто оскорбляли своих подопечных. Храм был настолько обогащен драгоценностями, статуями и сосудами из золота, что во время нашествия Ксеркса его богатства, как говорят, равнялись по стоимости всему персидскому вооружению, и так великолепен был его облик, что он казался скорее Олимпом богов, чем человеческим храмом в их честь. На месте древних Дельф сейчас стоит монастырь Кастри. Но все еще видны террасы, некогда заполненные веерами, все еще среди мрачных пропастей бурлит

касталийский источник, и все еще взору паломника открыты скальная купальня Пифии и возвышенные залы Корикийской пещеры.

IX. За Фокисом лежит страна локрийцев, разделенная на три независимых друг от друга племени - локри озолаи, локри опунтии, локри эпикнеиды. Локрийцы (ничем не примечательные в истории) в ранние времена сменили царский род на аристократический.

К югу от горы Оэты с локрийской территорией граничит родительница дорийской расы - небольшая провинция Дорис, а к западу от Локриса раскинулась горная Этолия, простирающаяся на север от Пинды до Амбракийского залива. Этолия дала героическому веку имена Мелеагра и Диомеда, но впоследствии оказалась в полной неизвестности. Жители были грубыми и дикими, делились на племена и не приобрели большого значения вплоть до новейшей эпохи греческой истории. Политическая конституция Этолии в указанное время неизвестна.

X. Акарнания, самая западная страна центральной Греции, в этот период представляется не менее туманной, чем Этолия, с которой она граничит; вместе с Этолией она приобрела известность в македонскую эпоху греческой истории.

XI. Северная Греция состоит из двух стран - Фессалии и Эпира.

В Фессалии находилась длинная и высокая гора божественного Олимпа, а к более южному краю поднимались Пинда и Оэты. Ее жители были дикими и выносливыми, и здесь была выведена самая знаменитая порода лошадей в Греции. Именно из Фессалии эллины начали свое продвижение по Греции, именно в фессалийских царствах властвовал род Ахиллы, но ее последующая история не была рассчитана на возрождение славы гомеровского героя; похоже, что она мало разделяла республиканский дух более известных государств Греции. Разделенные на четыре округа (Фессалиотис, Пеласгиотис, Фтиотис и Гестиотис), различные государства Фессалии управлялись либо наследственными князьями, либо вельможами с обширными владениями. Огромное количество крепостных, или пенестов, способствовало тому, что фессалийские вожди были могущественны в войне и величественны в мире. Их общая страна пришла в упадок от недостатка народа, но их несколько дворов были великолепны от богатства знати.

XII. Эпир был несколько менее обширен, чем Фессалия, и гораздо менее плодороден; его населяли различные племена, одни греческие, другие варварские, главным из которых были молоссы, управляемые царями, которые кичились своим происхождением от Ахиллы. Эпир не имеет большого значения или интереса для истории, пока не зашло солнце Афин, во времена правления македонских царей. На его территории находилось независимое государство Амбракия, населенное выходцами из Коринфа и управляемое республиканскими институтами. Здесь же находились священные дубы прорицательницы Додоны.

XIII. Теперь мы переходим к государствам Пелопоннеса, в состав которого входило восемь стран.

За Мегарисом лежала территория Коринфа: его широкий залив был приспособлен для торговли, которой он рано воспользовался; еще во времена Гомера он славился своим богатством. Он был покорен дорийцами, и в течение пяти поколений царская власть принадлежала потомкам Алета [107] из рода Гераклидов. В результате революции, причины которой нам неизвестны, царство перешло к Вакхиду, основателю прославленного рода (Вакхиады), который правил сначала как царь, а затем как ежегодный магистрат под именем

Прытанов. В последний период Вакхиады были, конечно, не одной семьей, а привилегированным сословием - они вступали в браки только между собой, - административные полномочия были строго ограничены ими, и их политика, если и была исключительной, то, по-видимому, энергичной и блестящей. Это правительство было разрушено, так как под его властью народ вырос в богатстве и значении; народное движение, возглавляемое Кипселом, человеком родовитым и удачливым, сменило способную олигархию на еще более сильного демагога (655 г. до н. э.). На смену Кипселу пришел знаменитый Гериандр (625 г. до н. э.), человек, чьи пороки, возможно, были преувеличены, но гениальность была бесспорна. При его племяннике Псамметихе Коринф вновь обрел свободу. Коринфяне, несмотря на все изменения в составе населения, до последнего сохраняли свою роскошь, и в посланиях Алкифрона, написанных во втором веке после Рождества Христова, отмечается показная роскошь немногих и нищета многих. В то время, о котором мы сейчас говорим, Коринф - Генуя Греции - отличался высоким уровнем цивилизации, обладал значительной морской мощью, а в искусстве и торговле был единственным соперником на греческом континенте перед изящным гением и обширной торговлей ионийских колоний.

XIV. Протянувшись от Коринфа вдоль побережья напротив Аттики, мы видим древний Арголис. Его тремя главными городами были Аргос, Микены и Эпидавр. Микены во время Троянской войны были самым могущественным из греческих государств, а Аргос, наряду с Сикиори, считался самым древним. Арголис пострадал от дорийской революции, и вскоре после нее царская власть, постепенно ослабевая, перешла в республиканскую [108]. В Арголиде существовали различные независимые государства - по одному на каждый главный город.

XV. По другую сторону Коринфа, почти напротив Арголиды, мы находим мелкое государство Сикион. Это древнейшее из греческих государств, присоединенное к царству Агамемнона во время Троянской войны. Сначала им владели ионийцы, затем его изгнали дорийцы, а вскоре после этого, по-видимому, оно превратилось в демократическую республику. Тиранию получил человек низкого происхождения, Ортагор, и она продолжалась в его семье в течение столетия - самая долгая тирания в Греции, но самая мягкая. Сикион не имел заметного влияния в тот период, о котором мы сейчас расскажем, хотя и управлялся способным тираном Клистеном, чья политика заключалась в том, чтобы сломить дорийскую аристократию, объединив, как в общих интересах, народные законы и царскую власть.

XVI. За Сикионом мы попадаем в Ахайю. Мы уже видели, что раньше этой областью владели ионийцы, которых изгнали некоторые ахейцы, избежавшие дорийского ига. Сначала она управлялась царем, а затем была разделена на двенадцать республик, объединенных в союз. Прошло немало времени, прежде чем Ахайя появилась на той раскаленной сцене, которая привлекала более беспокойные духи Афин и Лакедемона.

XVII. Мы остановились в Элисе, который также ощутил на себе революцию Гераклиды, которым овладели их товарищи этолийцы.

В Элисе произошла общая смена монархии республиканством, но республиканством в его наиболее аристократической форме; оно стало более популярным в период персидских войн, но без тех потрясений, которые обычно отмечают прогресс демократии. Магистраты содружества были распорядителями Священных игр. И вот, разнообразя этот быстрый, но, возможно, для широкого читателя несколько утомительный обзор политического и географического аспекта греческих государств, мы воспользуемся случаем, чтобы

рассмотреть природу и влияние тех знаменитых состязаний, которые дали Элиде ее истинный титул бессмертия.

XVIII. Происхождение Олимпийских игр теряется во мраке. Легенды, которые относят их первое основание к временам полубогов и героев, настолько согласуются с истиной, что выставки физической силы стали любимым развлечением того дикого и варварского века, который освящен героическим. Легко понять, что происхождение атлетических игр предшествовало появлению цивилизации; что, будучи связанными с праздниками, они, как и праздники, принимали священный характер, и что, независимо от того, были ли они впервые учреждены в честь похорон, или в честь победы, или в знак почитания бога, - религия сочеталась с политикой, чтобы передать вдохновляющий обычай более отточенному потомству. И хотя мы не можем буквально верить традиции, которая приписывает восстановление этих игр Ликургу в сотрудничестве с Ифитом, царем Элиды, и Клеостеном из Пизы, мы можем предположить, что, по крайней мере, Элида, Пиза и Спарта были обязаны своим возрождением этому учреждению.

Дорийский оракул в Дельфах дал свое разрешение на церемонию, восстановление которой должно было положить конец войнам и беспорядкам в Пелопоннесе. С этой санкции праздник был торжественно проведен в храме Юпитера в Олимпии, недалеко от Писы, города в Элиде. Он проводился каждый пятый год и длился четыре дня. Он заключался в проведении игр в честь Юпитера и Геракла. Промежуток между каждым праздником назывался Олимпиадой. После пятидесятой Олимпиады (580 г. до н. э.) все управление играми и выбор судей были монополизированы элэатами. Перед каждым фестивалем офицеры, назначенные элейцами, провозглашали священное перемирие. Все военные действия, которые велись в Греции, на время прекращались; предоставлялся достаточный промежуток времени для посещения игр и возвращения с них. [109]

В этот период священная территория Элиса считалась под защитой богов - никто не мог пересекать ее вооруженным. Элеяне действительно претендовали на право постоянного святилища на вечный мир; и это право, хотя иногда на него посягали, в целом, кажется, было уступлено. Жители этой территории стали, как бы, хранителями святилища; они мало вмешивались в бурные волнения остальной Греции; они не укрепляли свою столицу; и, будучи самым богатым народом Пелопоннеса, они наслаждались своим изобилием в спокойствии; их святой характер удовлетворял их честолюбие. И что удивительного в том, что посреди этих воинственных, буйных, беспокойных племен - эта уединенная земля, с ее платановой рощей, граничащей с Алфеем, украшенная бесчисленными и освященными памятниками и статуями, не посещаемая внешними войнами и гражданскими беспорядками - все государство было одним храмом!

Вначале демонстрировались только пешие состязания; затем к ним добавились борьба, прыжки, квотинг, дартинг, бокс, более сложные виды пеших состязаний (Диаулус и Долихус), а также гонки на колесницах и лошадях. Пентатлон представлял собой состязание из пяти гимнастических упражнений, объединенных вместе. Гонки на колесницах [110] предшествовали скачкам на лошадях, как в греческой войне использование колесниц предшествовало более научному использованию кавалерии, и были самой привлекательной и великолепной частью выставки. Иногда на площадке стояло не менее сорока колесниц. Редкость лошадей и дороговизна их обучения ограничивали, без всякого на то закона, гонки на колесницах для высокородных и богатых. Тщеславному Алкивиаду было свойственно отказываться от гимнастических состязаний, в которых его физические данные могли бы обеспечить ему успех, потому что его соперники не были равными наследнику Алкмеонидов. В конных состязаниях его успех был беспрецедентным. Он вывел на поле семь колесниц и

унес одновременно первый, второй и четвертый приз [111]. Хотя женщины [112], за исключением жриц соседнего купели Цереры, не допускались к состязаниям, им разрешалось участвовать в гонках на колесницах по доверенности, и македонские дамы особенно пользовались этой привилегией. Никакие кровопролитные состязания с оружием, никакие беспричинные свирепости, никакая борьба между человеком и зверем (безжалостные боины Рима) не оскверняли праздник, посвященный олимпийскому богу. Даже бокс с кестусом был менее почитаем, чем другие атлетические упражнения, и был исключен из игр, показанных Александром во время его азиатских вторжений [113]. Ни одно из тех надменных предположений о родословной или рыцарской крови, которые характерны для феодальных турниров, не делало различия между греком и гречанкой. Конные состязания действительно, в силу своей дороговизны, ограничивались богатыми, но остальные были беспристрастно свободны как для бедных, так и для богатых, как для крестьян, так и для знатных, - греки запрещали монополию на славу. Но хотя стадион был открыт для всех греков, он был непроницаемо закрыт для варваров. Оторванный от плуга, хам получал гирлянду, на которую считали недостойными претендовать монархи Востока и к которой запрещалось стремиться царям соседнего Македона, пока не будет четко доказано их эллинское происхождение [114]. Таким образом, нескольким государствам периодически напоминали об их общем роде, и таким образом национальное имя и характер торжественно сохранялись: однако, как и Амфикионийская лига, хотя Олимпийский фестиваль служил для поддержания большого различия между иностранцами и греками, он имел очень мало влияния на предотвращение враждебных состязаний самих греков. Само подражание между несколькими государствами стимулировало их ревность друг к другу: и все же, если греки находили в греках своих соотечественников, они находили в греках и своих соперников.

Мы не можем представить себе, какое огромное значение придавалось победе в этих играх [115]; она не только увековечивала победителя, но и проливала славу на его племя. Любопытно посмотреть, какие почести воздавались завоевателю в разных государствах. Если он был афинянином, то получал от магистратов место в Пританеуме; если спартанцем, то видное место в поле. Победа в Элисе была славой на всю жизнь, "не менее прославленной для грека, чем консульство для римлянина!" [116] На приз претендовали самые спесивые вельможи, самые богатые князья, самые удачливые полководцы [117]. А призом (после седьмой Олимпиады) стал венок из дикой оливы!

По всей Греции было учреждено множество других и подобных игр. Из них, помимо Олимпийских, самыми знаменитыми и единственными национальными были Пифийские в Дельфах, Немейские в Арголиде, Истмийские в Коринфе; но везде приз имел ценность; на всех национальных играх он был всего лишь гирляндой - образ вечной истины, что похвала - единственная награда за славу. Оливковая корона была ничем!- Крики собравшейся Греции, осыпание травами и цветами, пир в честь победителя, оды нетленных поэтов, публичный реестр, передающий потомкам его имя, привилегия статуи в Альтисе, возвращение домой через пролом в стенах (обозначающий благородной метафорой, что "город, хвастающийся такими людьми, не нуждается в стенах" [118]), первое место на всех общественных зрелищах; слава, короче говоря, распространившаяся на его родной город - завещанная его детям - подтвержденная всеобщим голосом везде, где распространилась греческая цивилизация; это была истинная оливковая корона олимпийского завоевателя!

Ни в каком другом климате нельзя найти сходства с этими праздниками: рожденные в дикарское время, они сохранили энергичный характер эпохи героев, но взяли все дополнения из искусств и милостей цивилизации. На священную площадку стекалась вся мощь, и ранг, и богатство, и интеллект Греции. На это великолепное зрелище приходили

люди, вдохновленные более благородными устремлениями, чем те, что были на арене. Здесь поэт и музыкант могли призвать зрителей к своему искусству. Если для них это не было полем для подражания [119], то, по крайней мере, театром для демонстрации.

XIX. Эти игры использовались в трех целях: во-первых, для объединения всех греков одним чувством национальной гордости и памятью об общей расе; во-вторых, для привития выносливой дисциплины, физического воспитания в каждом государстве, путем обучения тому, что тело имеет свои почести, так же как и интеллект - теория, способствующая здоровью в мире и в те века, когда люди сражались рука об руку, и индивидуальная сила и мастерство были нервами армии, для успеха в войне; Но, в-третьих, и это главное, ее применение заключалось в поддержании и подпитке страсти, мотива, непреодолимого стимула - желания славы! Это желание распространилось по всем классам, оно оживило все племена, оно научило, что истинная награда - не в золоте и драгоценных камнях, а во мнении людей. Честолюбие Альтиса утвердило славу как общий принцип действий. То, что рыцарство делало для немногих, олимпийские состязания делали для многих - они превращали народ в рыцарство.

Если бы, на мгновение отойдя от серьезности исторической музыки, мы могли представить себе картину этого праздника, мы бы вызвали в воображении читателя ту священную землю, украшенную самыми пышными триумфами греческого искусства, - всю Грецию, собранную со своего континента, вся Греция, собравшаяся со своего континента, со своих колоний, со своих островов - война приостановлена, суббота торжественна и ликующа - спартанец более не серьезен, афинянин забыл о форуме - высокородный фессалиец, веселый коринфянин - оживленные жесты азиатского ионийца; - не позволяя различным событиям разных времен смешаться в одном воспоминании о прошлом, он может видеть, как все глаза обращены от сражающихся к одной величественной фигуре, как все губы шепчут одно имя [120] - славное на больших полях: Сама Олимпия забыта. Кто же является зрелищем этого дня? Фемистокл, покоритель Саламины и спаситель Греции! Снова возгласы бесчисленных тысяч, следующих за колесницами состязающихся - чье имя выкрикивается, победитель без соперника, - Алкивиад, разрушитель Афин! Повернитесь к храму олимпийского бога, пройдите через медные ворота, пройдите через проходы с колоннами [121], и что вызывает благоговейный трепет и удивление толпы! Сидящий на троне из эбена и слоновой кости, из золота и драгоценных камней, с оливковой короной на голове, в правой руке статуя Победы, в левой, выточенная из всех металлов, заоблачный скипетр, - вот колоссальный шедевр Фидия, воплощенная гомеровская мечта [122] - величие олимпийского Иова! Войдите в пиршественный зал завоевателей, под чей стих, воспеваемый в торжественном и могучем хоре, склоняется внимающий спартанец - это стих дорийского Пиндара! В этом пестром и сверкающем пространстве (ярмарка в Олимпии, торговый центр, средоточие интеллекта), присоединитесь к толпе, искренней и затаившей дыхание, собравшейся вокруг этого обожженного солнцем путешественника; - теперь, упиваясь диким рассказом о вавилонских садах или о храмах, чье ужасное божество не могут назвать ни одни губы; теперь, со сжатыми руками и пылающими щеками, следя за походом Ксеркса вдоль истощенных рек и по мостам, перекинутым через море - что движет, что умоляет эту могущественную публику? Это Геродот читает свою историю! [123]

Давайте продолжим наш обзор.

XX. В средней части Пелопоннеса находится пасторальная Аркадия. Кроме рек Алфея и Эрманфа, ее орошает мрачный поток Стикс, а западная часть, пересекаемая бесчисленными ручьями, - земля Пана. Ее жители издавна занимались скотоводством и пастушеством, а древнее правление было, по-видимому, монархическим. Дорийское

нашествие пощадило эту землю поэтических преданий, которую дельфийский оракул взял под надежную защиту, и она осталась самым древним и ненарушенным святилищем старого пеласгического имени. Но вскоре после возвращения Гераклидов мы видим, что последний царь был побит камнями своими подданными, и в городе установились демократические институты. После этого страна была разделена на небольшие государства, главными из которых были Тегея и Мантинея.

XXI. Мессения, плодородный и равнинный район, расположенный к западу от Спарты, пережила множество сражений с последней; эту часть ее истории, полную интереса, читатель найдет кратко изложенной в истории спартанцев, которыми она была окончательно покорена. Будучи затем включенной в состав этой страны, мы не можем, в тот период истории, в который мы собираемся войти, рассматривать Мессению как отдельное и независимое государство. [124]

И вот, завершая обзор Пелопоннеса, мы останавливаемся в Лаконии, стране спартанцев.

## ГЛАВА VI.

Возвращение Гераклидов, спартанская конституция и обычаи, первая и вторая Мессенская война.

I. Мы уже видели, что пока дорийцы оставались в Фессалии, ахейцы владели большей частью Пелопоннеса. Но под названием "Возвращение Гераклидов" (или потомков Геракла) произошла важная и продолжительная революция, утвердившая дорийцев в царствах Агамемнона и Менелая. Истинная природа этой революции стала еще более туманной благодаря современной изобретательности, которая отказалась от популярных историй в пользу предположений, еще более невероятных и романтических. Народная история гласит: "Преследуемые Эврисфеем, царем Аргоса, сыновья Геракла со своими друзьями и последователями вынуждены укрыться в Аттике. При содействии афинян они побеждают Эврисфея, убивают его и возвращают себе Пелопоннес. Мор, расцененный как зловещий вестник с оскорбленных небес, снова загоняет их в Аттику. Оракул провозглашает, что после третьего плода они добьются успеха благодаря узкому морскому проходу. Неверно истолковав оракул, на третий год они направляются к Коринфскому перешейку. У входа в Пелопоннес их встречает собранное оружие ахейцев, ионийцев и аркадян. Гиллий, старший сын Геракла, предлагает решить вопрос в одиночном бою. Пелопоннесцы выбирают Эхема, царя Тегеи. Он встречает и убивает Хилла, и Гераклиды обязуются не возобновлять вторжение в течение ста лет. Тем не менее, Клеодэй, сын и Аристомах, внук Гилея, последовательно пытаются возобновить предприятие, но тщетно. Три сына Аристобаха (Аристодем, Темен и Кресфонт) получают от самого Аполлона верное толкование оракула. Им было предписано пройти через Риумский пролив, через канал, благодаря которому расстояние между противоположными берегами составляло всего пять стадий, а возвращение третьего плода означало третье поколение. Время пришло: с помощью дорийцев, этолийцев и локрийцев потомки Геракла пересекли пролив и основали свое поселение в Пелопоннесе (1048 г. до н. э.).

II. Помогали ли дорийцы Гераклидам в предыдущих походах - вопрос спорный, но не важный. Были ли эти Гераклиды действительно потомками ахейского принца и законными наследниками пелопоннесского трона - вопрос не менее спорный и не менее

легкомысленный. Вполне вероятно, что смелое и воинственное фессалийское племя можно было легко склонить под предлогом восстановления истинной царской линии к предприятию, которое могло посадить их в более безопасные и обширные владения, и что в то время как принц получил трон, конфедераты получили страну [125]. Важно лишь установить, что дорийцы участвовали в экспедиции, которая была успешной, что благодаря времени и доблести они завоевали почти весь Пелопоннес, что они перенесли дорийский характер и институты в свои новые владения, и что возвращение Гераклидов - это, по сути, народное название завоевания дорийцев. Какие бы различия ни существовали между ахейскими Гераклидами и дорийской расой, они, вероятно, были сильно стерты за время долгого отсутствия первых среди иноземных племен, а после их утверждения на Пелопоннесе вскоре и вовсе исчезли. Но все же легенда, приписывающая царской власти Спарты кровь Геракла, получила раннее и безоговорочное доверие, а Клеомен, царь этого государства, спустя несколько веков объявил себя не дорийцем, а ахейцем.

Время, затраченное на окончательное покорение захватчиков, мы не можем определить, но постепенно Спарта, Аргос, Коринф и Мессена перешли во владение дорийцев; этолийские конфедераты получили Элиду. Некоторые ахейцы изгнали ионийцев с территории, которую они занимали в Пелопоннесе, и дали ей название, которое она впоследствии сохранила, - Ахайя. Изгнанные ионийцы нашли убежище у афинян, родственной им расы.

Роковой дом Пелопса был сметен этим нашествием, и Спарта досталась Проклу и Эврисфену [126], сыновьям Аристодема, пятым по происхождению от Геракла; между этими князьями была разделена царская власть, так что конституция всегда признавала двух царей - по одному от каждой из семей Гераклидов. Старший дом назывался Агидами, или потомками Агиса, сына Эврисфена; последний - Эврипонтами, от Эврипона, потомка Прокла. Хотя Спарта при новой династии, судя по всему, вскоре заняла главенствующее положение среди других государств Пелопоннеса, ей еще долго не удавалось завоевать даже города, расположенные по соседству с ней. Ахейцы удерживали Амикл, построенный на отвесной скале менее чем в трех милях от Спарты, в течение более чем двух с половиной веков после первого вторжения дорийцев. И здесь ахейцы охраняли почтенные гробницы Кассандры и Агамемнона.

III. Последствия дорийского вторжения, если и развивались медленно, были велики и продолжительны. Эта революция не только изменила характер Пелопоннеса - она не только вызвала к жизни железную расу Спарты - но и миграции, которые она вызвала, положили начало греческим колониям в Малой Азии. Она также развила те семена скрытого республиканизма, которые были присущи дорийской аристократии и которые в конце концов вытеснили монархическое правительство почти во всей цивилизованной Греции. После мирного завершения революции миграции больше не нарушали спокойствия на греческом континенте, и различные племена обосновались на своих исторических местах.

IV. История Спарты до времен Ликурга - это история государства, с трудом удерживающего себя среди окружающих и враждебных соседей; власть вождей уменьшала власть царей, и если снаружи все было опасно, то внутри все было неспокойно. Тем не менее, сами беды, которым подвергались спартанцы - их малочисленность, раздоры с соседями, замкнутое положение в горах, даже преобладающая власть воинственных вождей, среди которых неравный раздел имущества порождал постоянные распри, - способствовали сохранению элементов великого дорического характера и оставили первому законодательному гению задачу скорее восстановить и гармонизировать, чем изобрести и создать.

Поскольку я пишу историю не Греции, а Афин, я не считаю нужным подробно описывать легендарную жизнь Ликурга. Современные писатели сомневаются в его существовании, но без достаточных оснований: такие нападки на нашу веру - всего лишь забава скептиков. Все народные предания о Ликурге сходятся в том, что он был дядей царя (младенца Харилая) и занимал должность протектора, что, не сумев успешно противостоять мощной фракции, поднятой против него, он покинул Спарту и отправился на Крит, где все древние дорийские законы и нравы еще сохранились, энергичные и неоскверненные. Там, изучая учреждения Миноса, он увидел образец для Спарты. Затем он, как говорят, перешел в Малую Азию и первым собрал и перевез в Грецию поэмы Гомера [127], до сих пор известные в этой стране лишь частично. Согласно некоторым писателям, он также путешествовал в Египет; и если верить одному авторитетному мнению, которое не удовлетворяет даже легковверного Плутарха, он проник в Испанию и Ливию и общался с гимнософистами Индии.

Вернувшись в Спарту после долгих уговоров, он застал государство в беспорядке: никакой определенной конституции, похоже, не существовало, законы не были написаны. Разделение царской власти между двумя царями должно было породить ревность, а ревность - фракцию. А разделенная власть ослабляла монархическую энергию, не увеличивая свободы народа. Буйная знать - грубые, надменные горные вожди - составляла единственную часть общества, которая могла извлечь выгоду из слабости короны, а междоусобные распри не позволяли их власти стать регулярной и организованной властью правительства [128]. Такие беспорядки побудили принца и народ желать реформ; вмешательство Ликурга было востребовано; его ранг и путешествия придали ему значимость; ему хватило мудрости увеличить ее, получив в Дельфах (объекте нескрываемого почитания дорийцев) оракул в свою пользу.

Призванный и воодушевленный таким образом, Ликург приступил к выполнению своей задачи. Я не вступаю в дискуссию о том, создал ли он совершенно новую конституцию, или же восстановил дух одной, общей для его расы и незнакомой Спарте. Здравый смысл кажется мне достаточным, чтобы убедить нас в последнем. Пусть те, кому угодно, поверят, что один человек, без вмешательства оружия - не как завоеватель, а как друг - смог установить конституцию, основанную не на законах, а на манерах, не на силе, а на использовании - абсолютно враждебную всем вкусам, желаниям и привязанностям человеческой природы: превращая все мельчайшие детали общественной жизни в единую систему - систему, в которой нет соблазна ни для чувства, ни для честолюбия, ни для желания удовольствий, ни для любви к наживе, ни для склонности к легкости, но которая болезненна, тяжела, бесплодна и не приносит удовольствия; - Пусть те, кто пожелает, поверят, что созданная таким образом система может быть сразу же принята, одобрена народом и просуществовать непрерывно, без перерывов, не вызывая даже желания перемен в течение четырехсот лет, не имея никаких прежних оснований в привычках народа, не будучи укорененной временем, обычаями, суевериями и характером в его груди. Со своей стороны, я знаю, что вся история не знает других подобных примеров; и я верю, что ни один человек никогда не был так чудесно наделен способностью покорять природу". [129]

Но у нас нет ни малейшей причины, ни малейшего оправдания для столь податливого легковверия. Мы смотрим на Крит, где до Ликурга дорийцы установили свои законы и обычаи, и сразу же видим сходство с ведущими чертами институтов Ликурга; Мы приходим вместе с Аристотелем к естественному выводу, что то, что было знакомо дорийскому Криту, не было неизвестно дорийской Спарте, и что Ликург не вводил новшеств, а восстанавливал и развивал законы и нравы, которые в условиях внутренних разногласий могли претерпеть временные и поверхностные изменения, но были глубоко укоренены в национальном

характере и дорийских привычках. О том, что постановления Ликурга рассматривались не как свойственные Спарте, а как наиболее совершенное развитие дорийской конституции, мы узнаем от Пиндара [130], когда он говорит нам, что "потомки Памфила и Гераклида желают всегда сохранять дорийские установления Эгимия". При таком рассмотрении законодательство Ликурга теряет свой чудесный и невероятный характер, в то время как мы по-прежнему признаем самого Ликурга великим и глубоким государственным деятелем, принявшим единственную теорию, с помощью которой реформа может быть проведена на постоянной основе, и соотнесшим дух своих законов с духом народа, которым они должны были управлять. Когда мы узнаем, что его законы не были написаны, что он предпочитал гравировать их только на сердцах своих соотечественников, мы сразу же понимаем, что он должен был принимать законы в строгом соответствии с их ранними предрасположенностями и любимыми представлениями. То, что законы были неписаными, само по себе доказывает, как мало он представлял себе чужого и неизвестного.

V. Я перехожу к краткому, но, полагаю, достаточному обзору спартанской конституции, социальной и политической, не вдаваясь в пространные и легкомысленные рассуждения о том, что было сделано или восстановлено Ликургом, а что - более поздней политикой.

В Спарте, как и в других дорийских государствах, существовало общественное собрание народа (называемое алиями), которое обычно собиралось каждое полнолуние, а по большим случаям и чаще. Решение вопросов мира и войны, окончательная ратификация всех договоров с иностранными державами, назначение на должность советника и другие важные должности, введение новых законов, спор о престолонаследии - вот те вопросы, которые требовали одобрения народа. Таким образом, была создана видимость демократии, но мы увидим, что намерения и происхождение конституции были далеки от демократических. "Если народ будет рассуждать превратно, старейшины и князья должны расходиться во мнениях". Таково было дополнение к "Ретре" Ликурга. Народное собрание ратифицировало законы, но не могло их предлагать - оно даже не могло изменять или дополнять декреты, которые были представлены на его рассмотрение. Судя по всему, только принцы, магистраты и иностранные послы имели право выступать на нем.

Главные дела государства готовились Герусией, или советом старейшин, - сенатом, состоявшим из тридцати членов, включая двух царей, каждый из которых имел в собрании лишь простой голос. По своей структуре этот совет напоминал собрания, характерные для всех дорийских государств. Каждый сенатор должен был достичь шестидесятилетнего возраста; он избирался народным собранием не голосованием, а путем аккламации. Способ избрания был любопытен. Кандидаты последовательно представляли перед собранием, а некоторые судьи отгораживались в соседней комнате, где они могли слышать шум народа, не видя лица кандидата. Выбор падал на того, кто, по их мнению, вызывал наибольшие аплодисменты. Этот способ избрания был открыт для всех видов мошенничества и справедливо осужден Аристотелем как легкомысленный и нелепый [131]. После избрания сенатор сохранял свое достоинство на всю жизнь: с него даже снималась всякая ответственность перед народом. То, что Мюллер считает этот институт достойным восхищения, "великолепным памятником ранних греческих обычаев", кажется мне не слишком удивительным. Я не могу представить себе ни одного выборного совета, который был бы менее практичным, чем тот, в который избирают пожизненно и в котором власть безответственна. То, что этот институт был признан ошибочным, очевидно не потому, что он был упразднен, а потому, что его более важные функции постепенно стали вторгаться и вытесняться третьей законодательной властью, о которой я расскажу ниже.

Первоначально обязанности герусии заключались в подготовке указов и дел, которые должны были быть представлены народу; они имели право налагать смерть или унижение без писаных законов, они толковали обычаи и должны были сохранять и передавать их. Власть королей можно разделить на две части - власть внутри страны и власть за рубежом: власть князя и власть полководца. В первом случае она была ограниченной и незначительной. Хотя короли председательствовали в отдельном трибунале, дела, выносимые на их суд, касались только ремонта дорог, надзора за сношениями с другими государствами, а также вопросов наследования и усыновления.

Присутствуя на совете, они исполняли обязанности председателей, но без права диктата; а если их не было, их место, похоже, легко было занять. Они объединяли жреческий и царский характер; потомкам полубога придавалась определенная святость, заметная в церемониях как при кончине, так и при восшествии на престол, которые показались Геродоту скорее восточного, чем эллинского происхождения. Но уважение, которым пользовался спартанский монарх, не наделяло его роскошью и не освобождало от контроля. По одежде и образу жизни он ничем не отличался от остальных граждан. Он подчинялся другим властям, мог быть подвергнут выговору, штрафу, отстранению от должности, ссылке, смерти. Если он отправлялся послом в иностранные государства, с ним нередко посылали шпионов, а в миссию включали коллег, наиболее откровенно враждебно настроенных к его персоне. Так ограничивалась его власть дома и его прерогатива как короля. Но по закону он был предводителем спартанских армий. Он взял на себя командование, переступил границы, и ограниченный магистрат в одночасье стал имперским деспотом! [132] Никто не мог сомневаться, ни один закон не ограничивал его власть. Он поднимал армии, собирал деньги в иностранных государствах и приговаривал к смерти без всякой формальности суда. Ничто, короче говоря, не ограничивало его власть, кроме его ответственности за возвращение. Он мог быть тираном в качестве генерала, но должен был ответить за тиранию, когда вновь становился королем. Но это различие было одной из самых мудрых частей спартанской системы; ведь война требует от вождя всех полномочий деспота, а триумф, решение и энергия могут быть обеспечены только беспрепятственным исполнением единой воли. Ранний Рим также не был обязан масштабами своих завоеваний какой-либо более эффективной причине, чем нелегализованная свобода действий, предоставленная сенатом генералу. [133]

VI. Теперь мы должны рассмотреть наиболее активную и эффективную часть правительства, а именно институт эфоров. Как и другие компоненты спартанской конституции, имя и должность эфора были знакомы другим государствам великой дорийской семьи; но в Спарте этот институт вскоре приобрел особые черты, или, скорее, в то время как присущие монархии и герусии принципы оставались неподвижными, принципы эфоров расширились и развились. Очевидно, что более поздняя власть эфоров не была задумана ни Ликургом, ни ранними законодателями. Она полностью противоречит ограниченной аристократии, которая была целью спартанской и почти всех подлинных дорических [134] конституций. Она создала демократию как бы исподтишка. Этот могущественный орган состоял из пяти человек, ежегодно избираемых народом. По сути, их можно назвать представителями народной воли - комитетом, так сказать, народного совета. Их первоначальные полномочия, по-видимому, были плохо продуманы; вскоре они стали обширными и посягающими. Сначала эфорат был трибуналом по гражданским, как герусия - по уголовным делам; он осуществлял юрисдикцию над гелотами и периэками, над общественным рынком и государственными доходами. Но его характер заключался в следующем: это был строго народный орган, избранный народом для поддержания его интересов. В соответствии с этим характером он вскоре получает привилегию проводить расследование поведения всех

должностных лиц, кроме советников. Каждый восьмой год, выбрав темную ночь, когда луна не давала света, эфоры наблюдали за состоянием неба, и если на просторе была видна какая-нибудь падающая звезда, цари признавались оскорбившими божество и отстранялись от должности до тех пор, пока их вина не была оправдана оракулом в Дельфах или жрецами в Олимпии. Эта прерогатива судить потомков Геракла не ограничивалась суеверной практикой: они вызывали к себе царя, не менее чем самого низкого из магистратов, для отчета за вменяемые преступления. В суде, состоявшем из советников (или герусии) и других магистратов, они выступали одновременно в качестве обвинителей и судей и, не обращаясь к народному собранию, подвергали суду жизни и смерти даже царскую власть. Перед Персидской войной они судили царя Клеомена по обвинению во взяточничестве, а сразу после Персидской войны приняли решение о казни регента Павсания. В более мелких правонарушениях они действовали без формальностей этого совета, штрафую или делая выговоры своим царям за приветливость их манер или размер [135] их жен. На образование, на социальные привычки, на правила в отношении послов и чужестранцев, даже на комплектование армий и численность войск они распространили свою инквизиторскую юрисдикцию. Они стали, по сути, фактическим правительством государства.

Легко понять, что в природе вещей было заложено, что институт эфоров должен был таким образом распространиться, пока не стал преобладающей властью. Его влияние было результатом порочной конституции герусии, или совета. Если бы это собрание было правильно составлено, эфорам не было бы нужды. Герусия, очевидно, подразумевалась политикой Ликурга и народным способом избрания как единственное представительное собрание. Но абсурдность пожизненного избрания с безответственными полномочиями была достаточной, чтобы ограничить ее принятие в народе. Из двух собраний - эфоров и герусии - мы видим, что одно избирается ежегодно, другое - пожизненно, одно ответственно перед народом, другое - нет, одно состоит из мужчин, занятых, энергичных, честолюбивых, в бодром состоянии, другое - из ветеранов, утративших обычный стимул к деятельности и рассматривающих достоинство должности скорее как награду за прожитую жизнь, чем как возможность для честолюбия. Из двух таких собраний легко предсказать, какое потеряет, а какое приумножит авторитет. Также легко понять, что по мере роста значимости эфоров именно они, а не герусия, станут сдерживать царскую власть. Кому был подотчетен царь? Народу: эфоры были представителями народа! Эта часть спартанской конституции, как мне кажется, не была достаточно рассмотрена в истинном свете, а именно в свете представительного правительства. Эфорат был средоточием народной власти. Подобно американскому конгрессу или английской палате общин, она предотвращала действия народа, действуя от его имени. Представителям, ежегодно избираемым, народ с радостью оставлял управление своими интересами [136]. Таким образом, эфоры действительно предотвращали посягательства народного собрания; но как? Посягая сами и от имени народа! Когда нам говорят, что Спарта была свободна от тех демократических нововведений, которые были характерны для ионийских государств, мы говорим неправду. Спартакское население постоянно вводило новшества, но не открыто, как на шумной афинской Агоре, а молча и непрерывно, через своих уполномоченных эфоров. И эти страшные и тиранические ПЯТЬ - олигархия, построенная на самых либеральных принципах, - продолжали увеличивать свою власть, по мере того как цивилизация, сама по себе растущая, делала государственные дела все более обширными и многообразными, пока в конце концов не стали проводниками той судьбы, которая делает принцип перемен одновременно и жизненным, и поглощающим элементом государств. Эфоры постепенно разрушили конституцию Спарты; но если бы не эфоры, можно не сомневаться, что она просуществовала бы и в половину дольше. Аристотель (чей могучий интеллект никогда не проявлялся так ярко, как при рассмотрении практической

деятельности различных форм правления) рисует зло эфоровой магистратуры, но признает, что она придавала прочность и долговечность государству. "Ибо", [137] говорит он, "народ был доволен своими эфорами, которые выбирались из всего тела". Он мог бы добавить, что избранные таким образом люди, редко выбираемые из вождей, но часто из низшего сословия, были самыми способными и активными членами общины, и что малочисленность их числа придавала энергию и единство их советам. Если бы другая часть спартанской конституции (нелепо панегиризированная) была сформирована таким образом, чтобы гармонизировать с властью эфоров, даже сдерживая ее; и, прежде всего, если бы не прискорбные ошибки социальной системы, которая, стремясь исключить желание наживы, вызвала ужасную реакцию и сделала спартанскую магистратуру самой продажной и коррумпированной в Греции, эфорам могло бы хватить для развития всех лучших принципов управления. Ведь они почти признали самую здравую философию представительной системы, в которой наименьшее число представителей выбирается без ограничений из наибольшего числа избирателей, на короткий срок и под сильной ответственностью". [138]

Теперь я перехожу к социальной системе спартанцев.

VII. Если мы рассмотрим положение спартанцев во времена Ликурга и в течение долгого последующего периода, мы сразу увидим, что для того, чтобы они вообще могли жить, они должны быть приучены к жизни в лагере; они были маленькой колонией солдат, поддерживающих себя руками и ногами во враждебной стране, над населением, которое их ненавидело. В такой ситуации определенные качества были не просто похвальны - они были необходимы. Быть всегда готовым к встрече с врагом, быть не склонным к праздности, быть храбрым, умеренным и выносливым - вот единственные средства, с помощью которых можно было избежать меча мессенца и справиться с ненавистью гелота. Они были часовыми, и им требовались добродетели часовых: к счастью, эти необходимые качества были присущи смелым горным племенам, которые издавна бродили среди фессалийских скал и боролись за жизнь с воинственными лапифами. Теперь оставалось только сформировать эти качества в систему и воспитать в каждом человеке те привычки, которые могли бы наилучшим образом сохранить общину. Соответственно, с самого раннего возраста ребенок приучался к жизни в условиях лишений, дисциплины и лишений; его морили голодом, чтобы он стал воздержанным; били, чтобы он стал стойким; наказывали без обид, чтобы он научился терпеть без стога; чем старше он становился, пока не достигал зрелости, тем более суровой была дисциплина. Интеллектуальному воспитанию уделялось мало внимания: какое отношение имели дозорные к наукам или искусствам? Но юношу учили остроте, быстроте и проницательности - ведь эти качества необходимы солдату. Его побуждали сжимать свои мысли и быть готовым к ответу; говорить мало и в самую точку. Афоризм ограничивал его философию. Такое воспитание давало свои результаты в атлетическом телосложении, в простых и выносливых привычках, в неукротимом терпении и быстрой проницательности. Но были и другие качества, необходимые для положения спартанца, и не столь похвальные - ремесло и симуляция. Он принадлежал к скудному, хотя и доблестному роду. Ни один гражданин не мог пощадить государство: зачастую лучше было обмануть врага, чем сражаться с ним. Соответственно, мальчик был обучен хитрости так же, как и храбрости. Голод или приказ вождя заставляли его добывать пищу в доме или в поле тайком; если его не обнаруживали, ему аплодировали, если обнаруживали - наказывали. Две основные пружины действия были заложены в нем - страх позора и любовь к родине. Эти мотивы, правда, были общими для всех греческих государств, но в Спарте они, похоже, были особенно сильны. Но последний из них вылился в один из самых страшных пороков национального характера. Всепоглощающая любовь к родной Спарте делала гражданина необычайно эгоистичным по отношению к другим государствам, даже родственным тому, к которому он принадлежал.

Бесстрашный, как спартанец, - когда Спарта была несокрушима, он был вял, как грек. И этот преувеличенный, но сектантский патриотизм, почти свойственный Спарте, был сосредоточен не только на безопасности и величии государства, но и на неотъемлемом сохранении его институтов; это чувство тщательно поддерживалось политикой, крайне ревниво относившейся к чужакам [139]. Спартанцам не разрешалось путешествовать. Иностранцам редко разрешалось жить в пределах города, и неприязнь спартанцев к Афинам проистекала скорее из страха заразиться ее принципами, чем из зависти к блеску ее славы. Когда мы видим (по ходу нашей истории), как спартанцы отстраняют своего афинского союзника от осады Итомы, мы видим, что они завидовали новаторскому характеру своего блестящего соседа; они боялись заражения демократией Агоры. Эта привязанность к одной исключительной системе правления характеризовала всю внешнюю политику Спарты и калечила национальное чувство узким фанатизмом и тупыми предрассудками. Везде, где она завоевывала, она навязывала свою собственную конституцию, независимо от того, насколько она противоречила привычкам народа, никогда не думая о том, что то, что хорошо для Спарты, может быть плохо для любого другого государства. Так, навязывая Афинам Тридцать тиранов, она стремилась, по сути, установить свою собственную герусию; и, несомненно, она воображала, что она станет не проклятием, а благословением для народа, привыкшего к дикой свободе народного собрания. Хотя сама она, благодаря тирании эфоров, была бессознательной марионеткой демократических действий, она отшатнулась от всех других, более открытых форм демократии, как от моровой язвы. Простые привычки спартанской жизни способствовали утверждению спартанских предрассудков. Обед, изысканный дом эти крепкие дорийцы считали жалким признаком глупости. Они не уважали никакое другое воспитание ума, кроме того, которое порождало смелых людей и короткие предложения. Ни наука Аристотеля, ни мечты Платона не приводили их в восторг. Музыка и танцы действительно культивировались среди них, причем с успехом и мастерством; но музыка и танец всегда были одного рода - было преступлением менять воздух [140] или изобретать меры. Воинственное, надменное и суеверное племя не может не быть привязано к поэзии - война всегда вдохновляет на песни, а канун битвы для спартанца был временем жертвоприношения музам. Поэтический темперамент, похоже, был характерен для этого необычного народа. Но страх перед новшествами, доведенный до крайности, действует на литературный гений еще хуже, чем на законодательную науку; и хотя Спарта произвела на свет несколько поэтов, одаренных, несомненно, умением очаровывать публику, к которой они обращались, ни один из них не оставил нам в наследство ничего, кроме своего имени. Греция, которая хранила, как в общей сокровищнице, все, что было одобрено ее безошибочным вкусом, ее удивительной оценкой прекрасного, относилась к спартанской поэзии с безразличием, которое убеждает нас в ее бесценности. Фивы, а не Спарта, передали нам дорийский дух в его благороднейшей форме, и в Пиндаре мы видим, насколько возвышенным был стих, вдохновленный его гордостью, его смелостью и его возвышенным почитанием славы и богов. Что касается торговли, мануфактур, сельского хозяйства, ремесел - такие мирные занятия были ниже достоинства спартанца, они были строго запрещены законом, как и гордыней, и были оставлены периозкам или гелотам.

VIII. Очевидно, что этой маленькой колонии было необходимо объединение. Ничто так не объединяет людей, как совместная жизнь. Сисситии, или общественные столы, - учреждение, распространенное на Крите, в Коринфе [141] и в Мегаре, - способствовали достижению этой цели в соответствии с дорийскими нравами. Общество за каждым столом состояло из мужчин, принадлежащих к одному племени или клану. Новые члены могли быть избраны только с согласия остальных. Глава семьи в Спарте платил за вход сам и платил за вход других членов своего дома. Мужчины принадлежали только им. У юношей и мальчиков был свой отдельный стол. Маленькие дети, однако, сидели с родителями на низких табуретах

и получали половину доли. Женщины были исключены. Несмотря на знаменитый черный бульон, стол, похоже, был достаточно, если не сказать элегантно, обставлен. А второе блюдо, состоявшее из добровольных даров, которые бедные члены получали из продуктов поголовья, а богатые - из своих стад, садов, домашней птицы и т. д., представляло собой то, что спартанцы считали лакомствами. Разговоры были привычными и даже шутливыми, их облегчали песни. Таким образом, общественные столы (на которых даже цари были обязаны присутствовать) становились приятными и привлекательными, благодаря привлекательности интимной дружбы и необузданного общения.

IX. Самый неясный вопрос, связанный со спартанской системой, - это вопрос о собственности. Очевидно, что намерением Ликурга или более ранних законодателей было сделать все разделы земли и богатства как можно более равными. Но ни один закон не может осуществить то, что запрещено обществом. Равенство одного поколения не может быть передано другому. Легко предотвратить накопление огромного богатства, но что может предотвратить бедность? В то время как приобретение земли путем покупки было запрещено, не было никаких ограничений на ее приобретение путем дарения или завещания; и во времена Аристотеля земля стала монополией немногих. В Спарте, как и в других государствах, с самого раннего периода ее истории существовало неравенство - сравнительное богатство и положительная беднота. Как земля переходила к женщинам, так и браки устанавливали огромное имущественное неравенство. "Если бы вся территория, - говорит Аристотель, - была разделена на пять частей, то две из них принадлежали бы женщинам". Постановление, согласно которому мужчина, не способный выплатить свою долю в сисситии, исключался из общественных столов, доказывает, что такое исключение было нередким явлением; и действительно, в конце концов это исключение стало настолько распространенным, что общественные столы превратились в аристократическое, а не демократическое учреждение. В более поздние времена Аристотель выдвигает в качестве возражения против эфорального правления тот факт, что эфорами избирались бедняки и что их продажность проистекала из их бедности - моральное доказательство того, что бедность в Спарте была более распространена, чем принято считать [142]; люди с собственностью не стали бы выбирать себе судей и диктаторов из нищих. Землю держали и обрабатывали хелоты, которые выплачивали своим хозяевам определенную фиксированную долю продукции. Говорят, что Ликург запретил использовать золото и серебро и ввел железную монету; но в то время золото и серебро были неизвестны как монеты в Спарте, а железо было обычным средством обмена по всей Греции. Поэтому запрет на использование драгоценных металлов был более позднего происхождения. По-видимому, он касался только частных спартанцев. Для тех, кто, не будучи спартанцами города, то есть для лаконцев или периеков, занимался торговлей, запрет не мог существовать. Более пагубного постановления невозможно придумать. В то время как оно эффективно служило для подавления подражания, для ограничения искусств, для ограничения промышленности и предприимчивости, оно привело к прямому результату, который оно должно было предотвратить; оно заразило все государство желанием золота; оно запретило тратить богатство, чтобы хранить его; каждый человек, кажется, желал золота именно потому, что он мог использовать его очень мало! От царя до хелота [143] дух стяжательства распространялся как болезнь. Ни одно государство в Греции не было так открыто для взяточничества, ни одна магистратура не была так коррумпирована, как эфоры. Спарта стала нацией скряг именно потому, что не могла стать нацией транжир. Таковы результаты, к которым приводит человек, когда его законодательство отменяет природу!

X. В домашней жизни спартанцы, как и остальные греки, получали мало удовольствия от общества своих жен. Поначалу молодой муж навещал свою невесту только тайком - быть

замеченным в компании с ней было позором. Но в Спарте женщины пользовались гораздо большей свободой и большим уважением, чем в других местах; мягкие азиатские различия в достоинствах между полами не доходили до выносливых горцев Лакедемона; жена была матерью мужчин! Воспитанная в крепких привычках, приученная к атлетическим упражнениям, выставлившая свою персону напоказ во время публичных шествий и танцев, которые, если бы не обычай, делавший приличным даже само неприличие, были бы поистине развратными, спартанская дева, сильная, выносливая и наполовину причастная к церемониям общественной жизни, разделяла привычки, способствовала подражанию, проникалась патриотизмом своего будущего супруга. И, сочувствуя его привычкам и занятиям, она добилась такого влияния и превосходства над ним, которое было неизвестно в остальной Греции. Достоянная в общественных местах, спартанская матрона считалась, однако, вираго в частной жизни; она, не испытывавшая печали по убитому сыну, имела очень мало почтения к живому мужу. Ее послушание супругу, по-видимому, было наиболее радостным в тех деликатных случаях, когда служба государству требовала ее подчинения объятиям другого! [144]

XI. Теперь мы переходим к самой меланхоличной и мрачной части спартанской системы - положению гелот.

Вся структура спартанского характера покоилась на рабстве. Если спартанцу было невыгодно работать, чтобы содержать себя, обрабатывать землю, строить дом, заниматься искусством; - делать что-либо еще, кроме как сражаться с врагом, выбирать эфора, переходить от погони или палестры к общественным столам, жить героем на войне и аристократом в мире, - очевидно, что для самого его существования как гражданина и даже как человека было крайне необходимо, чтобы существовал подчиненный класс людей, занятых в профессиях, отвергаемых им самим, и занятых обеспечением нужд этого привилегированного гражданина. Без гелотов спартанец был самым беспомощным из людей. Если бы у спартанского государства было отнято рабство, оно бы сразу же рухнуло! Поэтому неудивительно, что этот институт охранялся с необычайной ревностью, и неудивительно, что эта ревность породила необычайную суровость. Именно из-за страха потерять власть люди обычно проявляют тиранию при ее осуществлении. Не от жестокости нравов, а от тревожного проклятия жизни среди людей, которых социальные обстоятельства делают его врагами и рабами, деспот обычно становится свирепым, а подозрительность порождает царствование террора. Помимо политической необходимости строгого и неослабленного рабства, спартанец был бы черствым к страданиям раба, презирая его деградацию; как он презирал работу, оставленную гелоту, так же он презирал бы и того, кто ее выполнял. Таким образом, мотивы, которые делают власть наиболее нетерпимой, сочетались в спартанце в его отношениях с гелотом: во-первых, необходимость в его услугах, утраченная, возможно, если бы ограничение было когда-нибудь ослаблено; во-вторых, презрение к человеку, которого он унижал. Привычка к тирании делает тиранию необходимой. Когда раб долго сходил с ума под вашим игом, стоит вам хоть на мгновение ослабить его, как он восстает. Он становится вашим самым смертельным врагом, и самосохранение требует, чтобы тот, кого вы провоцируете на месть, был подавлен до бессилия. Поэтому чем дольше длилось спартанское правление, тем более жестоким становилось положение гелиотов. В Спарте не было тех тонких ранговых различий, которые существуют там, где рабство неизвестно, связывая класс с классом узами взаимной симпатии и зависимости - так что сама бедность может быть благодетельницей для нищеты. Даже среди бедняков у гелота не было братства! Он был так же необходим самому низкому, как и самому высокому спартанцу - его несчастья давали содружеству само существование. Поэтому мы не можем удивляться крайнему варварству, с которым спартанцы обращались с

этой несчастной расой; мы даже можем найти какое-то оправдание жестокости, которая в конце концов превратилась в инстинкт самосохранения. Восстание и резня постоянно находились перед глазами спартанца, а какой человек будет кротким и ничего не подозревающим с теми, кто только и ждет момента, чтобы убить его?

XII. Происхождение расы гелотов точно не установлено: распространенное мнение о том, что они были потомками жителей Гелоса, приморского города, покоренного спартанцами, и что они были обращены в рабство после восстания, отнюдь не является убедительным. Были ли они, как предполагает Мюллер, исконным рабским населением ахейцев, или же, как считали древние власти, это были те из ахейцев, которые наиболее упорно сопротивлялись спартанскому мечу и в конце концов сдались без всяких условий, - этот вопрос сейчас невозможно определить. Со своей стороны, я склоняюсь к первому предположению, отчасти из-за большого различия между порабощенными гелотами и (просто) неполноценными периоэками, которые, безусловно, были ахейцами; различия, которое, как мне кажется, не объясняется разным способом, которым эти два класса были первоначально покорены; отчасти потому, что я сомневаюсь, что горстка дорийцев, впервые основавших свое опасное поселение в Лаконии, смогла бы эффективно подчинить себе гелотов, если бы последние не были ранее приучены к рабству. Возражение против этой гипотезы - что гелоты вряд ли могли бы так ненавидеть спартанцев, если бы просто сменили хозяев, - не кажется мне очень убедительным. Под властью мягких и отеческих вождей гомеровской эпохи [145] они могли быть подвергнуты гораздо более мягкому рабству. Привыкшие к нравам и привычкам своих ахейских повелителей, они могли наполовину забыть о своем положении; и хотя спартанцы управляли ими в тех же внешних отношениях, это было совсем в другом духе. Суверенное презрение, с которым спартанцы относились к гелотам, они вряд ли испытывали бы к племени, отличавшемуся от более почтенных периоэков лишь более суровой доблестью и большим уважением к свободе; но это презрение легко объяснимо, если объектом его было ранее покоренное население страны, которую покорили сами спартанцы.

Гелоты считались собственностью государства, но они были доверены и сданы в аренду, как бы частным лицам; они были привязаны к земле; даже государство не присваивало себе право продавать их из страны; они платили своим хозяевам ренту кукурузой, а излишки прибыли были их собственностью. Гелоту было легче, чем спартанцу, приобрести богатство, но богатство было для него еще бесполезнее. Некоторые из гелотов присутствовали за общественными столами, а другие были заняты на всех общественных работах: они служили в поле в качестве легковооруженных войск: иногда их освобождали, но между гелотом и свободным человеком было несколько промежуточных классов; их номинальные обязанности были действительно мягкими по сравнению с тем духом, в котором к ним относились, и с тем обращением, которое они получали. То, что варварство их хозяев сильно преувеличено, вполне вероятно; но само преувеличение, сделанное писателями, привыкшими к институту рабства в других странах и отнюдь не склонными к излишней гуманности, свидетельствует о том, как относились к гелотам более мягкие рабовладельцы остальной Греции. Они были клеймены позором: ни один гелот не мог петь спартанские песни; если он только прикасался к тому, что принадлежало спартанцу, это было осквернено - он был парией Греции. Аристотель сообщает, что эфоры - народные магистраты - защитники свободы - вступили в должность, чтобы официально объявить войну гелотам - возможно, это была лишь пустая церемония презрения и оскорбления. Мы не можем поверить вместе с Плутархом, что позорная криптия была учреждена с той целью, которую он называет, а именно, что это была засада спартанских юношей, которые рассеялись по

стране и ночью убивали всех, кого могли встретить из числа гелотов. Но несомненно, что избранная часть молодых спартанцев ежегодно ходила по стране, вооруженная кинжалами, и что с целью ознакомления с военными тяготами было связано строгое, суровое и тайное наблюдение за населением гелотов. Ни один хелот, возможно, не был убит из простого распутства; но кто не видит, сколь многих обязательно убили бы при малейшем подозрении в недовольстве или за малейшую полезность примера? Эти несчастные люди были предметом сострадания для всей Греции. "Было распространено мнение, - говорит Аэлиан, - что землетрясение в Спарте было судом богов за бесчеловечное отношение спартанцев к гелотам". И, пожалуй, во всей истории (даже не считая того ужасающего спокойствия, с которым итальянские историки повествуют о жестокостях падуанского тирана или венецианской олигархии) нет более захватывающей истории преступлений, чем тот мрачный и страшный отрывок Фукидида, где рассказывается, как две тысячи гелотов, лучших и храбрейших из их племени, были отобраны в качестве награды и свободы, как их повели в храмы в знак благодарности богам и как они исчезли, их судьба известна - как это произошло, остается загадкой!

XIII. Кроме гелотов, спартанцы имели власть над промежуточным классом, называемым периеками. Это, несомненно, была старая ахейская раса, которая была обращена не в рабство, а в зависимость. Они сохранили свои города, число которых после полного завоевания Мессении оценивалось в сто. У них были свои сословия и классы, как у саксов после завоевания норманнами. Среди них были торговцы и производители Лаконии; таким образом, все искусства, достигнутые в доминионах Спарты, были не спартанскими, а ахейскими. Они служили в армии, иногда как тяжеловооруженные, иногда как легковооруженные солдаты, в соответствии с их рангом или призванием; один из периеков получил командование на море. По всей Греции они были признаны свободными гражданами, но в то же время зависимыми подданными. Но спартанцы ревностно и жестко проводили различие между освобождением от рабства гелота и участием в правах дорийца: гелот терял личную свободу, периеец - политическую.

XIV. Свободное или чисто спартанское население (как, вероятно, и во всех дорийских государствах) делилось на три родовых племени - гилеян, диманатов и памфилов: из них гилеяне (предполагаемые потомки сына Геракла) дали Спарте обоих ее царей. Кроме этих кровных или расовых племен, существовали также пять местных племен, составлявших избирательный округ эфоров, и тридцать подразделений, называемых *обес*, в соответствии с которыми, по-видимому, избирались более аристократические должности. В спартанской конституции также признавались два отдельных класса - равные и низшие. Хотя эти сословия были наследственными, заслуги могли продвинуть члена последнего, а заслуги - унижить члена первого. Низшие, хотя и не могли похвастаться знатностью равных, часто обладали такими же почестями и властью: как среди простолюдинов Англии иногда встречаются люди более высокого происхождения и более важного положения, чем среди пэров - (термин, в некотором роде синонимичный термину "равный"). Но высший класс пользовался определенными привилегиями, которые мы можем лишь смутно проследить [146]. Образова между собой собрание, они, возможно, одни избирались в сенат; и, возможно, они также отличались некоторыми особенностями образования - утверждение, сделанное г-ном Мюллером, но, на мой взгляд, недостаточно обоснованное. Что касается происхождения этого различия между низшими и равными, то я считаю, что оно возникло в какой-то период (возможно, во время Мессенских войн), когда нужда, вызванная сокращением населения, побудила спартанцев увеличить свою численность за счет чужеземцев, но (поскольку эта гипотеза едва ли соответствует спартанским нравам), скорее всего, периеков; таким образом, новые граждане стали бы низшими. Среди греческих

поселений в Италии нередко случалось, что колония, как только она достаточно , принимала новых поселенцев даже из родительского государства на более низких условиях; таким же образом в Венеции возникло различие между господами и гражданами; поскольку, когда в это покрытое морем государство стекалось множество людей в поисках безопасности и убежища, казалось справедливым предоставить прежним жителям различие хозяев, а иммигрантов рассматривать как гостей; первым - долю в управлении и высшее достоинство, последним - только кров и покой.

XV. Таковы общие черты государства и конституции Спарты - самой прочной аристократии, которая, возможно, когда-либо существовала, ибо это была аристократия на самой широкой основе. Если некоторые спартанцы были благородными, то каждый спартанец мог похвастаться тем, что он благороден. Его рождение запрещало ему работать, и единственной профессией был меч. Разница между самым ничтожным спартанцем и его царем была не так велика, как между спартанцем и персидцем. Не только рабство гелотов, но и подчинение персидцев постоянно питали гордыню высшей расы; родиться спартанцем означало родиться для власти. Чувство превосходства и привычка командовать придают определенную возвышенность манерам и повадкам. Вероятно, в самом бедном спартанском гражданине было больше достоинства, чем в самом богатом аристократе Коринфа или самом сладострастном придворном Сиракуз. И поэтому сдержанность, благопристойность, величая простота спартанского облика не могли не поразить воображение других греков и не вызвать признания соответствующих качеств, которые не всегда скрывались под этой возвышенной внешностью. Для живых наций, подверженных внешнему влиянию, было много в этой спокойной величественности поведения; для галантных наций - много в этой героической доблести; для суеверных наций - много в этом пресловутом отношении к религиозным обрядам, которое характеризовало спартанскую расу. Порицатели роскоши восхищались их простотой, страдающие от нововведений - их приверженностью древним нравам. Многие жертвы буйства партий в Афинах вздыхали о покое лакедемонского города; и как мы всегда преувеличиваем конкретное зло, которое переносим, и слепо восхищаемся обстоятельствами, наиболее противоположными тем, от которых мы страдаем, так и в более интеллектуальных государствах часто было в моде восхвалять институты, очевидные преимущества которых они видели лишь издалека и через стекло, не рассматривая сопутствующие недостатки. Афинянин мог восхвалять спартанскую строгость, как Тацит - германское варварство; это был панегирик риторики и сатиры, уязвленного патриотизма или разочарованного честолюбия. Хотя эфоры сделали правительство действительно и подспудно демократическим, но концентрация его действий делала его внешне олигархическим; в своей скрытности, осторожности, бдительности и энергии оно демонстрировало лучшие олигархические черты. Все, что было демократическим в законе, противодействовало в своих результатах всему, что было аристократическим в обычаях. Это было государство политической свободы, но социального деспотизма. Эта незыблемость древних обычаев сохранялась еще долго после того, как их польза была утрачена. То, что было восхитительным в одно время, стало пагубным в другое; то, что защищало младенческое государство от раздоров, ограничивало всю пышность интеллекта в более зрелом сообществе. Напрасно современные авторы пытаются отрицать этот факт - доказательства перед нами. Благодаря своей доблести Спарта долгое время была самым выдающимся государством самой интеллектуальной из всех стран; и когда мы спрашиваем, что она завещала человечеству - что она оставила нам в соперничество с теми Афинами, чья поэзия еще оживляет, чья философия еще направляет, чьи искусства еще вдохновляют мир, - мы находим только имена двух или трех незначительных поэтов, чьи произведения погибли, и несколько полудюжин страниц язвительных афоризмов и остроумных реплик!

XVI. Моя цель в вышеприведенном очерке - дать общее представление о спартанском характере и спартанской системе в более раннюю и блестящую эпоху афинской истории, не вдаваясь в ненужные предположения относительно точного периода действия каждого закона и каждого изменения. Социальное и политическое состояние Спарты определилось после завоевания ею Мессении. В мои планы не входит подробно разбирать легендарные и по большей части баснословные рассказы о первой и второй Мессенских войнах. Первая была отмечена судьбой мессенского героя Аристодема и падением скалистой крепости Итома; ее результатом стало завоевание Мессении (вероятно, начатое в 743 году до н. э. и закончившееся в 723 году); жители были вынуждены принести клятву покорности и отдать Спарте половину своей сельскохозяйственной продукции. После первой мессенской войны Тарентум был основан спартанской колонией, состоявшей, как говорят, из юношей [147], потомства спартанских женщин и лаконских мужчин, недовольных тем, что их лишили гражданства, и угрожавших государству грозным заговором, в котором участвовали гелоты. Между тем мессенцы, если и были завоеваны, то не покорились. Годы катились, и время стирало память о былых страданиях, но не о древних [148] свободах.

Именно среди молодежи Мессении надежда на национальное освобождение была наиболее сильна. Наконец, в Андании вспыхнуло восстание. Главой и душой этого предприятия стал молодой человек, превосходивший всех родом, доблестью и гением (вероятно, 679 г. до н. э.). Его звали Аристомен. Заключив тайные союзы с аргивянами и аркадянами, он решился поднять свой штандарт и столкнулся в Дерах, в их собственных владениях, со спартанским войском. Исход битвы был нерешителен, но, тем не менее, она, по-видимому, вызвала серьезные опасения Спарты: дальнейших военных действий не происходило до следующего года; был торжественно созван оракул в Дельфах, и бог повелел спартанцам искать себе советника в афиняnine. Они отправились в Афины и получили Тиртея. Популярный, но баснословный рассказ [149] описывает его как неумелого учителя грамматики, не имеющего никакой репутации. Его песни и увещевания, как говорят, произвели почти чудодейственный эффект. Я опускаю романтические приключения героя Аристомена, хотя можно усомниться, что вся греческая история может представить отрывки, превосходящие поэзию его предполагаемой жизни. Я оставляю читателю возможность узнать в другом месте, как он ночью повесил щит в храме Халкиозка, в самом городе врага, с надписью, что Аристомен посвятил богине этот щит из добычи спартанцев, как он проник в тайники Трофония, как ему помешали войти в Спарту призраки Елены и Диоскуров, как он был взят в плен при попытке захватить город, как, попав в плен при попытке захватить женщин Эгилы, он был освобожден любовью жрицы Цереры, как, снова попав в плен и брошенный в глубокую яму с пятьюдесятью своими людьми, он спасся, ухватившись за лисицу (привлеченную туда трупами) и страдая от того, что она влекла его через темные и малопроходимые места к отверстию, которое вело на верхний воздух. Эти и другие столь же романтические приключения я должен оставить на совести более доверчивых историков.

Все, что кажется мне достойным веры, это то, что после упорной, но безуспешной борьбы мессенцы оставили Анданию и заняли свою последнюю отчаянную позицию в Ире, горе, у подножия которой протекает река Неда, отделяющая Мессению от Трифилии. Здесь, укрепленные как искусством, так и природой, они выдержали одиннадцатилетнюю осаду. Но на одиннадцатый срок их сопротивление было завершено. Раб одного из высокопоставленных спартанцев сумел добиться расположения мессенской женщины, жившей за стенами горной крепости. Однажды ночью виновная пара была в доме прелюбодейки - муж внезапно вернулся, раб спрятался и подслушал, что из-за сильной и внезапной бури мессенская стража покинула цитадель, не опасаясь нападения врага в такую бурную ночь и не предвидя осмотра Аристомена, который в это время страдал от раны. Раб

подслушал, сбежал, добрался до спартанского лагеря, сообщил своему господину Эмпераму (который в отсутствие царей возглавлял войска) о дезертирстве стражи: был согласован штурм: несмотря на темноту ночи, несмотря на сильный дождь, спартанцы двинулись в поход: взлетели на укрепления: оказались внутри стен. Уже исполнились мрачные пророчества, предвещавшие участь осажденных, а теперь сам вой собак, странный и неожиданный, был признан чудачеством. Встревоженные и возбужденные, мессенцы бросились к ближайшему оружию. Аристомен, его сын Горгус, Феокл, пророк-хранитель своего племени (чья доблесть была равна его учености), одними из первых осознали опасность. Ночь прошла в суматохе и беспорядке. Наступил день, но скорее для устрашения, чем для ободрения: буря усилилась, гром гремел, молнии сверкали. То, что приводило в ужас осажденных, ободряло осаждающих. И все же, со всей яростью отчаяния, мессенцы продолжали сражаться: в поединке участвовали женщины; даже в их глазах смерть была предпочтительнее рабства и бесчестия. Но спартанцы значительно превосходили их числом, и, благодаря постоянным подкреплениям, свежие силы сменяли изможденные. Вооружаясь три дня и три ночи без передышки, измученные боем, яростью стихий, холодом, голодом и жаждой, мессенцы не теряли надежды: смелый пророк объявил Аристомену, что боги предрешили падение Мессены, что предостерегающие оракулы исполнились. "Сохраните, - зывал он, - то, что осталось от ваших сил, - спаситесь сами. Меня боги побуждают пасть вместе с моей страной!" Сказав так, прорицатель бросился на врага и, наконец, упал, покрытый ранами и пресыщенный совершенной им самим резней. Аристомен созвал вокруг себя мессенцев; женщин и детей поместил в центре отряда, охраняя их собственным сыном и сыном пророка. Возглавив отряд, он бросился на врага, жестами и взмахами копья объявляя о своем намерении пробить проход и спастись. Не желая еще больше расстраивать людей, доведенных до отчаяния, спартанцы освободили дорогу остальным осажденным. Так погибла Ира! (вероятно, 662 г. до н. э.). [150] Храбрые мессенцы бежали на гору Ликей в Аркадии, а затем большая часть, приглашенная Анаксилаем, их соотечественником, князем дорийской колонии в Регию в Италии, покорила вместе с ним занклейцев Сицилии и назвала завоеванный город Мессеной. Он до сих пор сохранил это название [151]. Но Аристомен, сохраняя неукротимую ненависть к Спарте, отказался присоединиться к колонии. Все же надеясь на день возмездия, он отправился в Дельфы. Какой совет он получил там, не сохранилось. Но божество повелело Дамагету, князю Ялиса на Родосе, жениться на дочери лучшего человека Греции. Таким человеком принц считал героя мессенцев, а в жены взял третью дочь Аристомена. Все еще замышляя против разрушителей своей страны, воин-патриот отправился на Родос, где смерть избавила спартанцев от ужаса его мести. В память о нем был воздвигнут памятник, и эта память, отмеченная общественными почестями, надолго стала гордостью мессенцев, как находившихся в далеком изгнании, так и подпавших под спартанское иго. Так закончилась вторая Мессенская война. Те из мессенцев, кто не покинул свою страну, были обращены в гелотизм. Спартанская территория расширилась, и спартанская власть была обеспечена, это надменное государство медленно поднималось к главенству над остальной Грецией; и сохраняло, среди развивающейся цивилизации и утонченности своих соседей, суровое и ужасающее подобие героической эпохи: в горах Пелопоннеса полированные и роскошные греки видели, как, словно заколдованные, сохранялись от перемен железные образы их гомеровских предков!

## ГЛАВА VII.

Правительства в Греции.

I. Возвращение Гераклидов повлекло за собой последствия, из которых наиболее важные были наименее непосредственными. Всякий раз, когда дорийцы навязывали свое поселение, они вытесняли тех из прежних жителей, которые отказывались подчиниться. Изгнанники, вынужденные искать дом в других местах, часто находили его в более благоприятном климате и на более плодородных почвах. Примеру этих невольных переселенцев стали подражать везде, где царило недовольство или население было избыточным: так, как я уже писал, возникли те многочисленные колонии, которым на берегах Азии, на греческих островах, на равнинах Италии и даже в Ливии и Египте суждено было дать, так сказать, вторую молодость родительским государствам.

II. Древнегреческая конституция представляла собой аристократию с принцем во главе. Если бы некоторое число людей, управляемых таким образом, было изгнано с родной земли, объединено общей опасностью и общими страданиями, высадилось на чужой берег, чтобы с трудом и муками обосноваться в новом поселении, то совершенно очевидно, что народный принцип незаметно вошел бы в формы конституции, которую они пересадили. Во-первых, власть принца была бы более ограничена, во-вторых, свободный дух аристократии был бы более распространен: во-первых, потому что власть вождя редко вытекала из королевского происхождения или освящалась предписанными привилегиями; в большинстве случаев он был просто дворянином, выбранным из рядов и искалеченным ревностью своего ордена: во-вторых, потому что все, кто участвовал в этом предприятии, в одном отношении сразу же становились аристократами - они выделялись из населения государства, которое колонизировали. Несчастья, сочувствие и перемены также способствовали бы стиранию многих разграничений; а власть превращалась из права рождения в доверие, как только она выходила из-под защиты древних обычаев и становилась даром живых, а не наследием мертвых. Вероятно также, что многие из таких колоний были основаны людьми, среди которых было мало различий в рангах: это особенно характерно для тех, которые были избытком населения; великие и богатые никогда не бывают избыточными; таким образом, масса обычно состояла из недовольных и бедных, и даже там, где аристократическая закваска была наиболее сильна, это все равно была аристократия какой-то побежденной и униженной фракции. Таким образом, в среднем равенстве эмигрантов были заложены семена новой конституции; и если они переносили форму монархии, то в ней уже содержался гений республиканства. Таким образом, колонии в древнем, как и в современном мире, гигантскими шагами продвигались к народным принципам. Поддерживая постоянные сношения со своей родиной, их собственные конституции становились знакомыми и заманчивыми для населения покинутых ими стран; и большая часть тех преимуществ, которые извлекались из выбранной ими почвы и торговли, оказавшейся в пределах их досягаемости, с готовностью приписывалась только их более популярным конституциям; так и в наши дни мы видим, что процветание Америки ставится нам в пример не как результат местных обстоятельств, а как порождение политических институтов.

Одной из главных причин республиканских форм правления, которые начали (после переселения дорийцев) распространяться по всей Греции, было создание колоний, поддерживавших постоянную связь с родительскими государствами. Вторая причина кроется в элементах предыдущих конституций самих греческих государств и политических принципах, которые существовали повсеместно, даже в героические века: так что, по сути, смена монархии на республику была гораздо менее насильственной, чем это может показаться на первый взгляд в наших современных представлениях. Древние цари, как их описывает Гомер, обладали лишь ограниченной властью, подобно спартанским царям - широкой на войне, узкой в мире. Очевидно, считалось, что источник их власти находится в

народе. Кажется, ни одно представление не было более универсальным среди греков, чем представление о том, что вся власть должна осуществляться в интересах общества. Во времена Гомера существовали народные собрания, которые претендовали на право давать привилегии по рангу. Знатные вельможи ревностно относились к прерогативам князя и постоянно посягали на его случайную слабость. В его болезни, возрасте или отсутствии власть в государстве, казалось, вырывалась из его рук - добыча вождей или спор враждующих группировок. Не было в Греции и той рыцарской преданности человеку, которая характерна для Севера. С древнейших времен не МОНАРХ вызывал добродетель преданности и вдохновлял энтузиазм верности. Так, в ограниченной прерогативе королевской власти, в ревности вождей, в праве народных собраний и, прежде всего, в молчаливом и бессознательном духе политической теории мы можем распознать в ранних монархиях Греции зародыши их неизбежного распада. Другая причина заключалась в том необычном разделении племен, говорящих на одном языке и принадлежащих к одной расе, которое характерно для греков. Вместо того чтобы захватить территорию одним огромным набегом, каждая часть захватывала небольшой район, строила город и формировала независимый народ. Таким образом, фактически эллинские правительства были правительствами не страны, а города, а слова "государство" и "город" были синонимами [152]. Муниципальные конституции по своей природе всегда более или менее республиканские; и, как в итальянских государствах, корпорации достаточно было потряхнуть какую-нибудь власть, не связанную с ней или враждебную ей, чтобы превратиться в республику. К этому можно добавить, что истинный республиканский дух легче утверждается среди горных племен, несовершенного цивилизованных и еще свежих от дикости естественной жизни, чем в старых государствах, где роскошь действительно оставляет желание, но ослабляет силу свободы, "как мрамор из каменоломни может быть легче превращен в статую, чем тот, над которым уже трудилась рука рабочего." [153]

III. Если переход от монархии к республиканству сам по себе не был очень бурным, то, по-видимому, он был еще более сглажен постепенными приготовлениями. Монархия не была упразднена, она пришла в упадок. Прямая линия прерывалась, или находился другой предлог для замены наследственной монархии на выборную; затем срок власти сокращался, и из пожизненной монархии она становилась монархией только на определенное число лет: в большинстве случаев менялось и имя (а как много в именах!), и титул правителя или магистрата заменял титул короля.

Так, без резкого скачка ума, без бурных и кратковременных революций, но постепенно, неощутимо и навсегда, монархия перестала быть модой, как бы износившейся и устаревшей, и на смену ей пришел республиканизм. Но этот республиканизм поначалу, вероятно, ни в коем случае не был чисто демократическим. Именно вожди были видимыми агентами в посягательствах на монархическую власть - это была аристократия, сменившая монархию. Иногда эта аристократия была крайне ограничена в численности, или же власть узурпировалась определенной фракцией или главенствующими семьями; тогда она называлась ОЛИГАРХИЕЙ. И эта форма аристократии, как правило, была наиболее непосредственной преемницей королевской власти. "Первым полисом, - говорит Аристотель [154], - который был установлен в Греции после прекращения монархий, был полис, состоявший из представителей военного сословия и всадников". . . . "Такие республики, хотя и назывались демократиями, имели сильную тенденцию к олигархии и даже к королевской власти". [155] Но дух перемен все еще продолжался: будь их мало или много, аристократические правители не могли не открыть дверь для дальнейших нововведений. Ибо если их было много, они были подвержены раздорам между собой, а если мало, то они порождали одиоз у всех, кто был отстранен от власти. Так пали олигархии Марсея, Истера и

Гераклеи. В одном случае их ослабила собственная ревность, в другом - ревность соперников. Прогресс цивилизации и растущие торговые привычки постепенно ввели промежуточное звено между населением и вождями. Постепенно поднимался СРЕДНИЙ КЛАСС, а вместе с ним росло стремление к расширенным свободам и равным законам. [156]

IV. Появился класс ДЕМАГОГОВ. Народ привык к переменам. Их повели против монархии, и они обнаружили, что лишь отказались от одного господина, чтобы получить многих: возник демагог, иногда один из их собственного ордена, чаще - недовольный, честолюбивый или обедневший дворянин. Ведь те, кто растратил свое наследство, как проницательно замечает Стагирит, - большие любители новшеств! Партии разгорались, государство дробилось, страсти разгорались, и популярный лидер становился народным кумиром. Его жизнь, вероятно, часто подвергалась опасности из-за недовольства знати, и всегда было легко утверждать, что она находится под угрозой. Он получил охрану для защиты, примирил солдат, захватил цитадель и сразу же поднялся из главы народных масс до правителя государства. Такова была обычная история тиранов Греции, которые никогда не вытесняли царскую власть (разве что в более ранние века, когда, родившись в ограниченной монархии, они распространяли свои привилегии за пределы закона, как Фидон Аргосский), но почти всегда были аристократиями или олигархиями [157]. Нелишне заметить, что слово "тиран" в древности имело совсем иное значение, чем сейчас. Оно более точно соответствовало нашему слову "узурпатор" и обозначало того, кто незаконными средствами, будь то искусство или сила, узурпировал верховную власть. Тиран мог быть мягким или жестоким, отцом народа или его угнетателем; он все равно сохранял это имя, и оно передавалось его детям. Заслуги этой расы правителей и те неосознанные блага, которые они принесли, не были справедливо оценены ни древними, ни современными историками. Без своих тиранов Греция, возможно, никогда бы не установила демократию. Как можно легко предположить, человек, которому в борьбе с могущественными врагами, часто низкого происхождения и с обедневшим состоянием, удавалось взойти на трон, обычно не обладал обычными способностями. Для него было почти жизненно необходимо посвятить эти способности делу и интересам народа. Только их благосклонность возвысила его - многочисленные враги все еще окружали его - только на народ он мог положиться.

Самые мудрые и знаменитые тираны отличались крайней скромностью в поведении: они не принимали на себя ни необычайной пышности, ни высоких титулов, оставляли нетронутыми или делали еще более популярными внешние формы и институты правительства, не были требовательны в налогообложении, не связывали себя с низшими слоями населения, и их приход к власти обычно приносил непосредственную пользу рабочим классам, которых они задействовали в строительстве новых укреплений или общественных зданий; ослепляли граждан великолепием, которое казалось не столько хвастовством отдельного человека, сколько процветанием государства. Но аристократия все еще оставалась их врагом, и именно против нее, а не против народа, они направляли свою острую проницательность и неустанную энергию. Каждый более политичный тиран был Людовиком Одиннадцатым, ослаблявшим дворянство и создававшим средний класс. Своей цели он добивался насильственными и беспринципными методами. Он сметал смертью или изгнанием всех, кто противостоял его власти или возбуждал его страх. Таким образом, он не оставил между государством и демократией ничего, кроме самого себя; сам он был удален, и демократия возникла естественно и само собой. В истории всех народов бывают времена, когда свобода лучше всего продвигается, когда цивилизация быстрее всего ускоряется, когда искусства наиболее пышно питаются строгой концентрацией власти в руках отдельного человека и когда деспот является лишь представителем народной воли [158]. В такие времена тирании в Греции в основном процветали, и можно сказать, что они почти прекратились вместе с

необходимостью, которая их вызвала. Энергия этих хозяев революции открывала сношения с другими государствами; их интересы расширяли торговлю; их политика разрушала унылые барьеры олигархических предрассудков и обычаев; их страхи находили вечную отдушину для промышленности населения, которое они боялись оставить в праздности; их гений ценил искусства - их тщеславие поощряло их. Таким образом, они прервали течение свободы только для того, чтобы улучшить, сконцентрировать, продвинуть ее результаты. Их династия никогда не длилась долго; самая старая тирания в Греции продержалась всего сто лет [159] - и то лишь благодаря своей мягкости. Сын тирана редко унаследовал проницательность и таланты своего отца: он стремился укрепить свою власть суровостью; возникало недовольство, и его падение было внезапным и полным. Обычно изгнанные представители аристократии возвращались на родину, но не получали прежних привилегий. Конституция стала более или менее демократичной. Правда, Спарта, оказавшая мощную помощь в уничтожении тираний, стремилась заменить их олигархиями, но эти усилия редко приводили к постоянному результату: чем больше сужалась аристократия, тем увереннее было ее падение. Если средний класс был силен - если в государстве процветала торговля, - то на смену сословной аристократии вскоре приходила аристократия имущественная (так называемая тимократия), а она по своей природе была уверена в демократических успехах. С момента расширения избирательного права можно говорить о начале всеобщего избирательного права. Тот, кто пользуется определенными преимуществами от владения десятью акрами, возбудит против себя партию тех, у кого их девять; и аргументы, которые использовались для предоставления права одному, в равной степени действуют и для предоставления права другому. Ограничения власти собственностью - это барьеры против вечно наступающего прилива. Тимократия, таким образом, почти всегда прокладывала путь к демократии. Но все же старая аристократическая фракция, постоянно подвергавшаяся вторжениям, оставалась сильной, упрямой и сопротивляющейся, и едва ли в Греции было государство, в котором не было бы двух партий, которые мы находим сегодня в Англии и во всех свободных государствах - партии движения в будущее и партии возврата к прошлому; я говорю - к прошлому, ибо в политике не существует настоящего! Где бы ни существовала партия, если одна стремится к новым нововведениям, то другая тайне желает не сохранить то, что осталось, а восстановить то, что было. Этот факт необходимо всегда иметь в виду, изучая политические состязания афинян. Ведь в большинстве их внутренних потрясений мы находим причину в попытках антинародной партии не столько противостоять новым посягательствам, сколько возродить ушедшие институты. Но хотя в большинстве греческих государств существовало два разных ордена, а Евпатриды, или "благороднорожденные", были классом, отличным от простонародья и превосходящим его, мы должны ошибаться, полагая, что отдельные ордена составляли великое политическое разделение. Как в Англии более древние дворяне часто оказываются в народных рядах, так и в греческих государствах многие Евпатриды возглавляли демократическую партию. И это разделение между собой, хотя и ослабляло власть родовитых, способствовало предотвращению смертоносных и свирепых революций: ведь оно значительно смягчало эксцессы господствующей фракции, и в каждом столкновении посредники между враждующими партиями находили тех, кто был одновременно и другом народа, и представителем знати. Не следует также забывать, что триумф народной партии всегда был более умеренным, чем триумф антагонистической фракции, как покажет в дальнейшем история Афин.

V. Законных конституций в Греции было четыре - монархия, олигархия, аристократия и демократия; незаконной была тирания в двух формах: узурпированная монархия или узурпированная олигархия. Так, олигархия Тридцати в Афинах была не меньшей тиранией, чем единоличное правительство Писистрата. Даже демократия имела свою незаконную или коррумпированную форму - ОХЛОКРАТИЮ или правление толпы; ведь демократия означала

правление не только низших сословий, но и всего народа - как высшего, так и низшего. Если высшие исключались законом - если население ограничивало законодательную и исполнительную власть своим порядком - тогда демократия, или правительство всего народа, фактически прекращалась и становилась правительством части народа - форма в равной степени несправедливая и незаконная - в равной степени злоупотребление само по себе, будь то доминирующая и исключительная часть - дворяне или механики. Так в современной, но аналогичной истории, когда средний класс Флоренции изгнал дворян из любой доли в правительстве, они установили монополию под именем свободы; а сопротивление дворян было законной борьбой патриотов и свободных людей за неотъемлемую привилегию и естественное право.

VI. Мы должны избавиться от некоторых очень важных предрассудков, если однажды согласимся с фактом, который очевиден сам по себе, но который совершенно затушевывали состязания современных партий: греческие республики по одной только форме своего правления не могут быть справедливо поставлены на службу тем, кто в нынешние времена доказывает зло или провозглашает преимущества чисто демократических конституций. Во-первых, они не были демократиями, даже в их самой демократической форме: подавляющее большинство трудящихся классов составляло поработанное население. Поэтому усиление народных тенденций в республике, по сути, означало лишь увеличение свобод немногих. Мы можем справедливо усомниться в том, что худшие пороки древних республик - разделение сословий и война между богатыми и бедными - не были необходимыми результатами рабства. С такой же вероятностью мы можем сомневаться, что возвышенный дух и всеобщая страсть к общественным делам, из которых проистекали предприимчивость, соперничество, патриотизм и слава древних городов, могли бы существовать без подчиненной расы, выполнявшей тяжелую повседневную работу. Очевидно также, что большая часть интеллектуального величия нескольких государств проистекала из чрезмерной малости их территорий - концентрации внутренней власти и вечного подражания соседним и родственным государствам, почти равным по уровню цивилизации; очевидно также, что большая часть порочных черт их характера и в то же время большая часть их более блестящих черт проистекала из отсутствия прессы. Их интеллектуальное состояние - это состояние людей, с которыми разговаривают, а не пишут. Их воображение было постоянно задемпировано, их рассудочный разум - редко; они были подходящей аудиторией для оратора, чье искусство эффективно в зависимости от импульса и страсти тех, к кому он обращается. Не следует также забывать, что представительная система, которая является надлежащим проводником демократического действия, если и не была полностью неизвестна грекам [160], и если неосознанно практиковалась в спартанском эфоралитете, то, по крайней мере, никогда не существовала в более демократических государствах. А собрания всего народа совместимы только с теми малыми народами, для которых город - это страна. Таким образом, мы не можем предложить абстрактную конституцию какого-либо древнего государства в качестве предупреждения или примера для современных стран, которые обладают обширными территориями, которые существуют без рабского населения, которые заменяют представительные советы народными собраниями и которые направляют интеллектуальные вкусы и политические привычки народа не с помощью ораторского искусства и бесед, а через более спокойную и беспристрастную прессу. Если сравнить демократии Греции со всеми другими современными формами правления, то можно признать, что они наиболее благоприятны для умственного развития, не подвержены внутренним революциям, обычно более долговечны, более мягки и цивилизованны в своих законах, и что худшая тирания Дема, будь то дома или за границей, никогда не сравнится с олигархией или единоличным правителем. То, в чем древние республики являются для нас образцами, заключается не в форме, а в духе их законодательства. Они учат нас, что

патриотизму больше всего способствует приобщение всех классов к общественному и постоянному общению, что интеллект наиболее пышен там, где конкуренция наиболее широка и свободна, и что законодатели не могут создать никаких наград и придумать никаких наказаний, равных тем, которые молчаливо порождаются самим обществом, пока оно поддерживает, выработанное в систему, желание славы и страх позора.

## ГЛАВА VIII.

Краткий обзор искусств, литературы и философии в Греции до законодательства Солона.

I. Прежде чем завершить эту вводную часть моей работы, необходимо сделать краткий обзор интеллектуального состояния Греции до той замечательной эпохи афинского величия, которая началась с законов Солона. В этот период континентальные государства Греции не произвели практически ничего в той литературе, которая сегодня является реликвией всего мира. Будь то монархия или сменившая ее олигархическая конституция, подавленный и вялый гений Афин не предвещал тех триумфов, которые ей суждено было совершить впоследствии. Ее литература началась, хотя нельзя сказать, что она прекратилась, с ее демократией. Одинокое и сомнительное притязание на рождение - но не на песню - Тиртея (фл. 683 г. до н. э.) - высшая литературная честь, на которую может претендовать ранняя эпоха Аттики; и многие дорийские государства - даже сама Спарта - похоже, были более плодотворны на поэтов, чем город Эсхила и Софокла. Но во всей Греции с древнейших времен царила всеобщая страсть к поэзии, какими бы беглыми ни были поэты. Поэмы Гомера - самые древние из профанных произведений, но сами поэмы Гомера свидетельствуют о том, что у них было много и не очень благородных предшественников. Об этом свидетельствует не только само их совершенство, не только ссылки на других поэтов, но и общий образ жизни, приписываемый вождям и героям. Лира и песня - любимое развлечение на пиру [161]. И Ахилл, в перерыве между возмущенным отдыхом, меняет смертоносный меч на "серебряную арфу".

"И поет  
бессмертные деяния героев и царей". [162]

II. Широкая традиция и внутренние свидетельства гомеровских поэм доказывают, что "Илиада", по крайней мере, была написана азиатским греком; и хотя время его расцвета до сих пор горячо обсуждается, наиболее правдоподобная хронология относит его ко времени ионийской миграции, или чуть менее чем через двести лет после Троянской войны. Следующие строки в речи Юноны в четвертой книге "Илиады" некоторые [163] считают намеком на возвращение Гераклидов и дорийские завоевания в Пелопоннесе: - "Три города Юноны".

"Три города Юноны на греческих равнинах,  
Дороже, чем все, что есть на земле.  
Микены, Аргос и Спартанская стена.  
Их можешь ты разрушить, и я не запрещу им пасть;  
Не в моей власти отмстить;  
Преступленья достаточно, чтоб они разделили мою любовь". [164]

И мне, конечно, кажется, что в столь отчетливом упоминании трех великих пелопоннесских городов, которые захватили и которыми овладели дорийцы, Гомер делает столь широкую аллюзию на завоевания Гераклидов, не только как это соответствовало бы гордости ионического грека в подтверждении триумфов национального дорийского врага, но и как того требовал характер темы, перенесенной в далекий период и удивительно удаленной в своем общем поведении от исторических деталей последующих событий [165]. И здесь я могу заметить, что если дата, которую Гомеру приписывают, верна, то сама тема "Илиады" могла быть подсказана последствиями дорийского нашествия. Гомер рассказывает,

"Гнев Ахилла, для Греции страшный источник  
Бедствий неисчислимых".

Но Ахилл - родной герой той фессалийской области, которая была самым ранним поселением дорийского рода. Агамемнон, на чьи обиды он обижается, - монарх великого ахейского рода, династию и владычество которого дорийцам суждено свергнуть. Правда, во время Троянской войны дорийцы переселились из Фтиотиса в Фокис, правда, что Ахилл не был дорийцем по происхождению; тем не менее, необычное совпадение мест будет представлять интерес, так как, хотя англичане не являются потомками бриттов, мы все же связываем историю Британии с нашей собственной: Поэтому мне кажется, хотя я верю, что предположение новое, что это не вся Троянская война, а тот эпизод Троянской войны (в остальном неважный), проиллюстрированный гневом Ахилла, который пробуждает вдохновение поэта. На самом деле, если под экзордиумом "Илиады" не скрывается типичный смысл, то экзордиум мало соответствует теме. Ведь гнев Ахилла не навлек на греков бедствий более тяжких, чем те, которые им суждено было пережить при обычном ходе войны. Но если греческая публика (изгнанники и потомство изгнанников), которой на азиатских берегах Гомер читал свою поэму, ассоциировала наследственную вражду Ахилла и Агамемнона с распрями между древними воинами Фтиотиды и Ахайи; Тогда, действительно, начальные строки приобретают торжественное и пророческое значение, и их воздействие должно было быть электрическим для народа, всегда склонного проследивать в мифах своих предков наследие мрачной и зловещей роковой судьбы, благодаря которой каждое нынешнее страдание становилось неизбежным результатом незапамятных причин. [166]

III. Древние единодушно считали "Илиаду" произведением одного поэта; в последнее время возникло противоположное мнение, и в Германии в данный момент наиболее модным является мнение, что эта замечательная поэма была лишь сборником рапсодий различных поэтов, организованных и упорядоченных Писистратом и поэтами его времени; теория, которую может поддержать ученый, но которую никогда не мог придумать ни один поэт! В пользу этого утверждения говорят следующие основные причины: - Утверждается как "неоспоримый факт", "что искусство письма и использование пригодных для письма материалов были полностью или почти полностью неизвестны в Греции и на ее островах в предполагаемую дату создания Илиады и Одиссеи; что, если это так, эти поэмы не могли быть записаны во время их создания; что в подобном вопросе сравнительной вероятности гораздо более невероятно, чтобы даже одна "Илиада", насчитывающая, после всех сокращений и исключений, до 15 000 строк гекзаметра, была фактически задумана и доведена до совершенства в мозгу одного человека, без какой-либо другой помощи, кроме его собственной или чужой памяти, чем то, что она на самом деле является результатом трудов нескольких отдельных авторов; Что если считать Одиссею, то невероятность удваивается; что если добавить, по авторитету Фукидида и Аристотеля, Гимны и Маргины, не

говоря уже о Батрахомиомахии, то то, что было невероятным, становится морально невозможным! Что все, что так часто говорилось о факте запоминания стольких и более стихов, не имеет отношения к вопросу, который заключается не в том, что 15 000 или 30 000 строк не могут быть выучены наизусть из печати или рукописи, а в том, может ли один человек первоначально сочинить поэму такой длины, которая, справедливо или нет, будет считаться совершенным образцом симметрии и согласованности частей, без помощи письменных принадлежностей; - что, признавая большую вероятность такого достижения в первобытную эпоху, мы не знаем ничего похожего или аналогичного ему; и что оно настолько выходит за общие пределы интеллектуальных возможностей, что, по крайней мере, заслуживает, с такой же справедливостью, как и противоположное мнение, характера невероятности." [167]

И на таких аргументах должна быть разрушена идентичность Гомера! Давайте рассмотрим их последовательно.

1-е. "Искусство и использование удобных для письма материалов были полностью или почти полностью неизвестны в Греции и на ее островах в предполагаемую дату создания "Илиады" и "Одиссеи"".

Весь аргумент против единства Гомера опирается на это утверждение; и все же это утверждение невозможно доказать! Напротив, допускается, что алфавитные знаки были введены в Греции Кадмом, а надписи, которые, по мнению лучших антикваров, датируются временем до Троянской войны, встречаются даже среди пеласгов Италии. Дионисий сообщает нам, что пеласги первыми ввели буквы в Италии. Но в ответ на это говорят, что буквы использовались только для надписей на камне или дереве, а не для сохранения столь объемных сочинений. Если бы это было так, то я не вижу причин, по которым греки должны были бы с такой благодарностью вспоминать о даре Кадма, ведь простая надпись нескольких слов на камне не была бы столь популярным или полезным изобретением! Но финикийцы постоянно общались с египтянами и евреями, и среди обоих этих народов были известны искусство и материалы для письма. Финикийцы, гораздо более предприимчивые, чем те и другие, должны были быть полностью знакомы с их средствами письменной коммуникации - и мы уверены, что так оно и было. Если бы финикийцы передали Греции такую часть искусства, как знание письменного алфавита, вероятно ли, что они не допустили бы, чтобы общение прекратилось! Финикийцы были торговым народом - их колонии в Греции служили коммерческим целям, - неужели они стали бы сознательно и добровольно пренебрегать самым удобным способом коммерческой переписки? Импортируя искусство, достаточное для надписей, не приносящих никакой пользы, кроме как туземцам, неужели они остановились бы именно тот момент, когда искусство стало полезным для них самих? И чтобы оправдать этот способнейший народ от столь преднамеренной глупости, разве мы не опираемся на авторитет истории и здравого смысла? У нас есть авторитет Геродота! Когда он сообщает нам, что финикийцы передавали письма ионийцам, он добавляет, что по очень древнему обычаю ионийцы называли свои книги диптерами, или шкурами, потому что в то время, когда растение библия или папирус было скудным [168], они использовали вместо него шкуры коз и овец - обычай, который он сам наблюдал среди варварских народов. Использовались ли такие материалы только для надписей, связанных с религиозными посвящениями или политическими договорами? Нет; ведь тогда материалом для надписей служило бы дерево или камень - храм или столб, - они должны были использоваться для более литературных целей, а стих был первой формой литературы. Я допускаю, что до Гомера, да и долгое время после него, искусство письма (как и у нас в темные века) было известно лишь отчасти, что во многих частях Греции, особенно европейской, оно едва ли

использовалось, кроме как для кратких надписей. Но это не имеет никакого значения; если бы оно вообще было известно любому ионийскому торговцу, даже любому соседнему азиату, даже любому финикийскому поселенцу, есть все основания полагать, что сам Гомер или современный ученик и чтец его стихов научился бы и искусству, и использованию материалов, которые могли бы лучше всего обеспечить славу поэта или помочь памяти чтеца. И хотя Плутарх сам по себе не является авторитетом, его нельзя отвергать как подтверждающее свидетельство, когда он сообщает нам, что Ликург собирал и переписывал поэмы Гомера; а то, что в Греции тогда было известно письмо, видно из самого постановления Ликурга о том, что его законы не должны быть письменными. Но Аполлодор считает Ликурга современником самого Гомера, и это мнение, похоже, получило одобрение самых кропотливых и глубоких из современных хронологов [169]. Я мог бы привести и другие аргументы в поддержку тех, которые я уже выдвинул; но я уже сказал достаточно, чтобы показать, что это не "неоспоримый факт", что Гомер не мог быть знаком с письменными принадлежностями; и что вся батарея, возведенная для разрушения славы величайшего из человеческих гениев, была построена на самом неопределенном и неустойчивом фундаменте. Возможно, невозможно доказать, что поэмы Гомера были написаны, но столь же невозможно доказать, что они не были написаны, и если бы для идентичности Гомера было необходимо, чтобы его поэмы были написаны, эта необходимость была бы одним из самых сильных доказательств не того, что Гомера не существовало, а того, что письменность существовала!

Но давайте теперь предположим, что доказано, что письменные принадлежности для литературных целей были неизвестны, и рассмотрим утверждения, построенные на этой гипотезе.

2d. "Если эти поэмы не могли быть записаны во время их создания, то гораздо более невероятно, чтобы даже одна "Илиада", насчитывающая, после всех сокращений и исключений, до 15 000 строк гекзаметра, была задумана и доведена до совершенства в мозгу одного человека, без какой-либо другой помощи, кроме его собственной или чужой памяти, чем то, что она на самом деле является результатом труда нескольких разных авторов".

Я полностью отрицаю это. "Невероятность" могла бы быть "более грубой", если бы "Илиада" была написана за один день! Но если, как признает любой здравомыслящий человек, она была написана по частям или "фитам" умеренной длины за один раз, то поэту не потребовалось бы ни необычайной силы памяти, ни напряжения мысли. Такие части, однажды прочитанные и восхищенные, становились известными и изученными сотней профессиональных бардов, и таким образом устно публиковались, как бы, отдельными частями, возможно, за годы до завершения работы. Поэтому все, что говорит о сложности создания столь длинной поэмы без письменных принадлежностей, - всего лишь жаргонные слова. Предположим, что никаких письменных принадлежностей не существовало, однако, как только фрагменты по несколько сотен строк за раз запечатлевались в памяти других менестрелей, автор получал живые книги, в которых мог освежить свою память, и даже мог с их помощью отшлифовать и исправить то, что уже было написано. Тогда поэту не нужно было бы самому в совершенстве и дословно запоминать все произведение. У него были свои скрижали в сердцах и устах других, и даже если бы потребовалось, чтобы он сам сохранил всю композицию, постоянная привычка к пересказу, постоянное упражнение памяти сделали бы такую задачу отнюдь не невыполнимой или беспрецедентной. Что касается единства поэмы, составленной таким образом, то оно, как и сейчас, было бы единством не технических правил и педантичной критики, а единством интереса, характера, образности и

мысли - единством, которое не требует письменных ссылок для его поддержания, но которое является неотъемлемым качеством одного мастера-разума и должно быть для всех простых людей неопровержимым доказательством того, что только один разум задумал и выполнил эту работу.

IV. Вот вам и предполагаемая неправдоподобность одного автора "Илиады". Но с каким лицом эти критики могут говорить о "вероятности", когда, чтобы избавиться от одного Гомера, они просят нас поверить в двадцать! Может ли наше необузданное воображение сформировать более чудовищные гипотезы, чем эти, а именно.-что несколько поэтов, все обладавшие гением высочайшего порядка (никогда прежде или с тех пор не превзойденным), жили в один и тот же век, что этот гений был настолько точно схож у каждого, что мы не можем обнаружить в мыслях, образах, концепции и трактовке характера, человеческого и божественного, проявляющихся в каждом, ни малейшего разнообразия в этих замечательных умах, что из огромного количества национальных легенд все они сошлись в выборе одной темы, войны за Трои, что из этой темы все они сошлись в выборе только одного отрезка времени, от оскорбления Ахилла до избавления от тела Гектора, что их различные мозаики так хорошо вписывались одна в другую, что одним лишь умением искусного редактора они были соединены в одно целое, настолько симметричное, что самая острая изобретательность древней Греции никогда не смогла бы обнаружить самозванство [170], и что, из всех этих поэтов, столь чудесных по своему гению, ни одно имя, кроме имени Гомера, не было записано народом, которому они пели, и не было востребовано особым племенем, чью литературу они должны были увековечить? Если бы не хватало всего остального, чтобы доказать единство Гомера, то этой экстравагантности предположений, в которую отрицание этого единства ввергло людей, не имеющих общего образования и интеллекта, было бы достаточно, чтобы его утвердить.

3d. "Что если считать Одиссею, то невероятность удваивается; что если мы добавим, по авторитету Фукидида и Аристотеля, Гимны и Маргины, не говоря уже о Батрахомихомии, то то, что было невероятным, становится морально невозможным".

Если бы эти последние поэмы принадлежали Гомеру, то не было бы ничего невероятного в изобретении и сочинении мелких поэм без письменных принадлежностей; а тот факт, что он сочинил одну длинную поэму, не создает никаких трудностей для сочинения коротких. Мы уже видели, что автору не обязательно помнить их всю жизнь. Но этот аргумент нечестен, так как критики, которые его привели, в один голос утверждают, когда им это нужно, что "Гимны" и т. д. не принадлежат Гомеру, и в этом я согласен с их, почти всеобщим, мнением.

Остальная часть анализа враждебного аргумента уже была рассмотрена в связи с первым предложением.

Теперь остается сказать несколько слов об авторстве "Одиссеи".

V. Вопрос о том, были ли две эпопеи - "Илиада" и "Одиссея" - произведениями одного и того же поэта, сильно отличается от того, который мы только что обсуждали. Действительно, это разные вопросы: могла ли Греция в определенные промежутки времени создать двух великих эпических поэтов, выбрав противоположные темы, и могла ли Греция создать десяток-другой великих поэтов, из чьих бесплодных останков была сложена могучая "Илиада". Даже древние александрийской школы не приписывали "Одиссею" автору "Илиады". Выбранная тема, описанные нравы, мифологический дух - все это сильно отличается в двух произведениях, и одно из них явно более позднего происхождения, чем другое. Но, со своей стороны, я не думаю, что до сих пор было четко установлено, что все эти признанные различия несовместимы с одним и тем же авторством. Если бы "Илиада" была написана в

юности, то путешествия поэта, изменение ума, вызванное годами и опытом, легкость, с которой древний грек менял или переделывал свою податливую мифологию, быстрота, с которой (при быстром развитии цивилизации в Греции) происходили важные изменения в обществе и нравах, - все это могло бы привести к тому, что в зрелом возрасте поэт создал поэму, сильно отличающуюся от той, которую он сочинил в юности. А различные незамеченные интерполяции и изменения, которые, как предполагается, были внесены в "Одиссею", могли послужить причиной таких подробных различий, которые представляют собой серьезнейшее препятствие для этой гипотезы. Если рассматривать "Илиаду" и "Одиссею" как единое целое, то они настолько схожи по всем самым высоким и редким признакам гениальности, что представить себе двух Гомеров так же невозможно, как и двух Шекспиров. Между "Илиадой" и "Одиссеей" также нет такого контраста, как между одной пьесой Шекспира и другой [171]. Тем не менее, я должен предупредить широкого читателя, что максимальное противодействие, которое можно разумно и эффективно оказать тем, кто приписывает разным авторам эти несколько эпосов, ограничивается скорее сомнением, чем отрицанием.

VI. Нет нужды критиковать эти бессмертные шедевры; не то чтобы критика их была еще исчерпана - не то чтобы еще не был проведен полезнейший и даже новый анализ их достоинств и характера, не то чтобы самые яркие и блестящие доказательства единства каждой поэмы, рассмотренной в отдельности, не были установлены тем, кто, обладая соответствующими способностями, возьмет на себя восхитительную задачу выведения индивидуальности поэта из индивидуализирующего характера его творений и особых качеств его гения. В человеческих произведениях, как и в божественных, главным доказательством единства автора является его верность самому себе: - Не считая это излишним, но слишком удлиненным и эпизодическим трудом, если бы он был достойно выполнен, я отказываюсь в настоящее время от критического обзора двух поэм, популярно приписываемых Гомеру.

Ранний гений Греции в значительной степени посвятил себя темам, схожим с теми, что занимали гомеровскую музу. В более поздний период - предположительно в александрийскую эпоху - обширное собрание древних поэм было объединено в так называемый "эпический цикл"; он начинался с "Теогонии" и заканчивался приключениями Телемаха. Хотя циклические поэмы уже не сохранились, они просуществовали довольно долго. Большая их часть была написана между 775 и 566 годами до н. э. Они сохранились во времена Прокла, 450 г. н. э.; самые старые, таким образом, выдержали по меньшей мере двенадцать, а самые последние - десять веков; - кроме нескольких разрозненных строк, сохранились только их названия, одинокие знаки, все еще плывущие над темным забвением, которое охватило эпосы тридцати бардов! Но, по общему признанию критиков и народа, ни одно из них не приблизилось к далекой эпохе, а тем более к трансцендентным достоинствам гомеровских поэм.

VII. Но более ранней, чем эти ученики Гомера, является поэзия класса, принципиально отличного от гомеровской, а именно сборник, приписываемый Гесиоду. Гесиод считался автором только одного из них, деревенской и домашней поэмы под названием "Труды и дни", у своих ближайших соотечественников (беотийцев с Геликона); но более общее мнение приписывало плодовитости его гения множество других произведений, некоторые из которых, если судить по названиям, были направлены на более возвышенные цели [172]. И если бы он был автором только "Трудов и дней" - поэмы весьма незначительных достоинств [173], - вряд ли можно было бы объяснить ту высокую оценку, которой Гесиод пользовался у греков, его часто сравнивали, а иногда и предпочитали могучему и величественному Гомеру.

Мы должны либо рассматривать Гесиода как автора многих произведений, возможно, превосходящих то, чем мы сейчас располагаем, либо, как более правдоподобно и популярно предполагают современные критики, как представителя и тип, так сказать, великой школы национальной поэзии. И было высказано острое предположение, что, принимая во внимание пастушеские и скромные занятия, которыми он объявляет себя [174], в сочетании с темами его муз и местом его рождения, мы можем считать, что имя Гесиода было представителем поэзии не владык-победителей, а завоеванного народа, выражающей его занятия и иллюстрирующей его религию. Это объясняет заметную и удивительную разницу между военным и аристократическим стилем Гомера и мирным и деревенским стихом Гесиода [175], а также не менее заметное различие между волнующей мифологией одного и вдумчивой теогонией другого. Если принять эту гипотезу, то гесиодовская эпоха, вполне возможно, началась раньше гомеровской (хотя то, что сейчас приписывается Гесиоду, явно более позднего времени, чем "Илиада" и "Одиссея"). И Гесиод является для Гомера тем же, чем пеласгический гений был для эллинов. [176]

VIII. Для всех, кто изучает то, что я могу назвать естественной историей поэзии, очевидно, что короткие гимны или песни должны были долго предшествовать гигантским композициям Гомера. Линус и Фамирис, а также, что более спорно, Орфей, считаются предшественниками Гомера, хотя приписываемые им поэмы (некоторые из которых сохранились) были написаны гораздо позже. Почти одновременно с греческими богами появились религиозные гимны в их честь. А зародыш великой лирической поэзии, которой мы обладаем сегодня, был заложен в грубых песнопениях воинственных дорийцев, обращенных к Аполлону, который был не только вдохновителем, но и покровителем. Религия греков сохранила и облагородила созданную ими поэзию, и бард, "любимый богами, как и людьми", обрел как священный характер, так и народную славу. Под этой веселой и привычной мифологией даже комический гений приютил свои права и нашел свои сюжеты. Самые ранние комические драматурги не только искали в мифических баснях своих персонажей и сюжеты, но и задолго до того, как сама ДРАМА возникла в каком-либо из греческих государств, комический рассказ подготовил почву для комического представления. В восьмой книге "Одиссеи" великолепный Алкиной и благочестивый Улисс с восторгом слушают историю, даже в широком смысле смехотворную, о том, как Вулкан ловит в сети и разоблачает Венеру и ее любовника-бога войны.

"Все небо смотрит, как они лежат в заточении,  
И неутихающий смех сотрясает небо".

И это необычное и хорошо известное произведение показывает не только то, насколько серьезным и благоговейным примером для Эпихарма послужило его дерзкое изображение недугов олимпийской семьи, но и то, насколько памятной и глубоко укоренившейся в народном духе была склонность черпать из одного и того же источника элементы юмора и благоговения.

Но какой бы древней ни была лирическая поэзия Греции, ее шедевры были созданы задолго до гомеровских поэм; и, несомненно, на них сильно повлияло знакомство с этими источниками всеобщего вдохновения. Думаю, можно доказать, что лирическая поэзия в своей более сложной форме развилась раньше всего в тех местах, где, скорее всего, были хорошо известны поэмы Гомера.

Особый характер греческой лирической поэзии можно понять, только помня о ее неразрывной связи с музыкой и общем применении того и другого не только в религиозных,

но и в политических целях. Дорийские государства рассматривали лиру и песню как мощные инструменты влияния на образование, нравы и национальный характер своих граждан. У них эти искусства контролировались и регулировались законом, и поэт приобретал что-то вроде социального ранга и стремился к моральным целям государственного деятеля и законодателя: в то время как в ионийских государствах удивительное волнение и возбуждение, изменения и эксперименты в правительстве, быстрый рост роскоши, торговли и цивилизации давали поэзии, которая не считалась, как у нас, отстраненным, необщительным и одиноким искусством, но была связана с каждым событием реальной жизни - со случаями огромного разнообразия тем всеобщего оживления. Красноречие поэзии всегда будет более захватывающим в своих призывах, любовь к поэзии всегда будет более распространена в народе, в той мере, в какой она меньше пишется, чем читается. Как мало людей даже в наши дни прочтут стихотворение, а какие толпы будут слушать песню! Чтение переносит сцену воздействия из чулана в толпу - публика становится аудиторией, поэт - оратором. А если вспомнить, что созданная таким образом поэзия, воплощающая самые яркие, популярные, оживленные темы, была объединена со всей пышностью фестиваля и шоу - со всеми самыми грандиозными, самыми сложными и искусными эффектами музыки, - мы можем понять, почему истинный гений лирической композиции навсегда ушел из современного мира.

Еще в 708-665 гг. до н. э. Архилох довел до совершенства поэзию, достойную более высоких страстей, чем те, которые в основном одушевляли его упрямый и гневный гений. В 625 году (за тридцать один год до законодательства Солона) процветал Арион, лесбиец, который в Коринфе довел до необычайного совершенства героическое приспособление песни к хоровой музыке. В 611 году расцвел сицилиец Стерсихор - недостойный соперник Ариона; одновременно в менее национальных и греческих тонах, больше похожих на вдохновение современных менестрелей, Алкей выплеснул свой горячий и горький дух; -и Сапфо (чья целомудренная и нежная муза была припасена для рыцарства северного студента, через пять с половиной веков после того, как рука была холодной, а язык немой, чтобы оправдаться от самой продолжительной клеветы, которую когда-либо терпел гений) [177] придала самым пылким человеческим страстям самую нежную окраску женских чувств. Пожалуй, из всего, что завещала нам Греция, ничто не является столь совершенным в своей концентрации подлинного чувства, как фрагменты Сапфо. В одном стихотворении, состоящем из нескольких строк, но, увы, не переданном нам полностью, она дала картину воздействия любви на любящего, к которой тома самых красноречивых описаний едва ли могли бы добавить хоть один новый штрих естественного пафоса - настолько она тонка и в то же время проста. Я не могу обойти молчанием фрагменты Мимнермуса (фл. 630 г. до н. э.) - они кажутся столь мало похожими на обычный характер греческой поэзии; в них есть задумчивая, хотя и мрачная печаль, которая принадлежит скорее глубокому северному воображению, чем блестящим фантазиям запада; их меланхолия смешана с чем-то наполовину интеллектуальным, наполовину сладострастным, свидетельствующим о скорбной, но интересной мудрости пресыщения. Мимнермус - главный образец латинских элегических писателей, а Проперций сравнивает его любовные стихи с гомеровскими. Мимнерм не изобрел элегическую форму (ведь впервые ее применил к военному вдохновению другой ионийский поэт, Каллин), но он кажется основателем того, что мы сейчас называем элегическим духом в его ассоциации чувства меланхолии с любовной страстью.

IX. Если таково было состояние поэзии в Греции - неистовствующей в ионийских Афинах, но уже расточительной в родственных ей государствах Азии и островов; почитаемой, а не создаваемой в Спарте; великолепно принимаемой, а не рождаемой в Коринфе, - то

азиатские колонии также должны претендовать на честь прогресса родственных искусств. Но в архитектуре дорийские государства европейской Греции, Сикион, Эгина и роскошный Коринф, не были недостойными соперниками Ионии.

В героические времена гомеровские поэмы, особенно "Одиссея", свидетельствуют об утонченности и мастерстве, которых достигли многие подражательные искусства греческой цивилизации. В вышивке, высокородном занятии Елены и Пенелопы, пытались создавать самые сложные и трудные узоры; и трудно предположить, что эти сюжеты могли бы быть нанесены на одежду с достаточной точностью, чтобы оправдать похвалу поэта, который, очевидно, писал по опыту увиденного, если бы искусство рисования не было также доведено до некоторого совершенства - хотя на саму живопись поэт делает лишь сомнительные и неясные намеки. И все же, если, с одной стороны, в вышивке и на оружии (например, на щите Ахилла) пытались изобразить более сложные и мельчайшие детали, а с другой стороны, было известно использование красок (а оно было, причем не только на одежде, но и на слоновой кости), не могло пройти много времени, прежде чем два таких родственных элемента одного и того же искусства объединились. Хотя многие утверждают, что грубые камни или балки были самыми ранними объектами греческого поклонения, и хотя несомненно, что в некоторых местах такие эмблемы Божества предшествовали поклонению изображениям, все же суеверному искусству грубых пеласгов в их раннюю эпоху приписываются неуклюжие и полусформированные статуи Гермеса, а идол поминается традициями почти столь же древними, как те, что свидетельствуют о святости фетиша [179]. В гомеровскую эпоху СКУЛЬПТУРА из металлов, причем в больших масштабах, была, несомненно, известна. У дверей Алкиноса, царя острова в Ионическом море, стоят ряды собак из золота и серебра, в его зале на постаментах стоят золотые статуи мальчиков с факелами; а то, что такая скульптура уже тогда была посвящена богам, видно из известного отрывка в ранней поэме "Илиада", где изображена Феано, троянская жрица Минервы, кладущая подношение Гекубы на колени статуи богини. Насколько, однако, такие статуи можно назвать произведениями искусства, или насколько они были сделаны коренными греками, определить невозможно [180]. Несомненно, что памятный и гигантский прогресс в искусстве СКУЛЬПТУРЫ был достигнут лишь около 50-й Олимпиады (580 г. до н. э.), когда Дипаен и Сциллис впервые прославились работами из мрамора (дерево и металлы были самыми ранними материалами для скульптуры). Великие усовершенствования в этом искусстве, по-видимому, были связаны с заменой обнаженной фигуры на задрапированную. Красота, легкость, грация и сила стали результатом анатомического изучения человеческой формы. АРХИТЕКТУРА завещала нам пеласгические и циклопические останки, достаточные для того, чтобы указать на массивность, которую она рано приобрела в некоторых частях Греции. В гомеровские времена общение с Азией уже придавало легкость старшим формам. Во дворцах вождей постоянно появляются колонны, стены украшают обильные металлические орнаменты; а гомеровские дворцы, с их карнизами, богато украшенными голубой инкрустацией, с их серебряными колоннами на латунных основаниях, возвышающимися среди виноградных и фруктовых деревьев, - даже если учесть все преувеличения поэта, - поражают воображение пышностью и блеском восточного города [181]. В этот период Афины получают от Гомера эпитет "широкоуличные": "И отнюдь не невероятно, что город аттического царя мог представлять путешественнику во времена Гомера более приятный общий вид, чем в эпоху его славы, когда, после персидских разрушений, его величественные храмы возвышались над узкими и неровными улицами, а ревнивые последствия демократии запрещали особнякам отдельных вельмож то поразительное превосходство над домами простолюдинов, которое естественно обозначало бы различие богатства и звания в монархическом или даже олигархическом правительстве.

Х. Около того времени, к которому мы сейчас переходим, обширная торговля и свободные учреждения ионийских колоний перенесли все упомянутые искусства далеко за пределы гомеровского времени. И в дополнение к активности и развитию интеллекта во всех его качествах, которые прогрессировали с обширной торговлей и колонизацией Милета (действуя на чувствительный, любознательный и поэтический темперамент ионийского населения), необычное событие, которое внезапно открыло для Греции знакомое общение с искусствами и знаниями Египта, дало значительный импульс всему греческому уму.

В нашем предыдущем кратком обзоре состояния восточного мира мы видели, что Египет, разделенный на двенадцать княжеств, был вновь объединен под властью одного монарха. Честолюбивому и удачливому Псамметиху удалось благодаря мечам некоторых ионийских и карийских авантюристов (которые, отправившись в грабительское путешествие, оказались у египетских берегов) не только вернуть себе владения, из которых он был изгнан ревностью своих товарищей, но и получить единоличный суверенитет Египта (670 г. до н. э.). В благодарность за их услуги Псамметих даровал своим диким союзникам некоторые земли в Пелусийском устье Нила и обязал некоторых египетских детей выучить греческий язык; от этих детей произошел класс переводчиков, которые спустя долгое время создали условия для привычного общения между Грецией и Египтом. Какими бы ни были миграции египтян в Грецию до этого времени, это были первые греки, которых египтяне приняли у себя. Отсюда в Грецию одним полным и непрерывным потоком хлынуло египетское влияние, доселе частичное и нечастое. [182]

В то же царствование, согласно Страбону, азиатские греки получили поселение в Наукратисе, древней империи Египта; и общение, однажды начатое, быстро увеличивалось, пока в последующее время Амасиса (569 г. до н. э.) мы не видим ионийцев, дорийцев, эолийцев Азии и даже жителей Эгины и Самоса [183], строящих храмы и совершающих богослужения среди ревностного и мистического жречества Нила. Это привычное и выгодное общение с народом, который сами греки считали самым мудрым на земле, оказало быстрое и сильное влияние на их религию и искусство. В первом случае он сразу же повлиял на их способы гадания и мистические обряды, в последнем - влияние было менее непосредственным. Правда, они, вероятно, научились у египтян многим техническим правилам в живописи и скульптуре; они узнали, как резать мрамор и смешивать краски, но их собственный гений научил их, как одушевить блок и оживить изображение. Мы уже видели, что до этого события искусство достигло у греков определенного совершенства - , поэтому, к счастью, то, что они приобрели сейчас, не было основой их знаний. Привитый на греческий подвой, каждый побег приносил греческие плоды: и то, что было заимствовано из механизма, воспроизводилось в красоте [184]. Как и в искусстве, так и в науке; у нас есть основания сомневаться, что египетские мудрецы, чьи умы были запеленуты и забинтованы в хлопья наследственных правил, так и не вырвавшихся из рабства каст, обладали сколько-нибудь здоровой и просвещенной философией: их мудрость, вероятно, была преувеличена живыми и легковерными греками, потрясенными мистицизмом жрецов, величием городов, самой строгостью, столь новой для них, навязанного и античного обычая. В чем же заключалась реальная польза от этого общения? Не столько в удовлетворении, сколько в пробуждении и стимулировании любопытства к знаниям. Египет для греков был как Америка для Европы - египтяне мало чему их научили, а Египет многому. И то, что египтяне непосредственно передавали скорее материал для улучшения, чем само улучшение, этот один дар является индивидуальным примером и общим типом; - египтяне передали грекам использование папируса - самого легкого и популярного материала для письма; таким образом, мы обязаны Египту за приспособление, которое сделало многое, чтобы сохранить для нас - многое, возможно, чтобы создать для нас Платона и Аристотеля; но за мысли

Аристотеля и Платона мы обязаны только Греции: - материал египетский - производство греческое.

XI. Использование папируса, несомненно, оказало большое влияние на формирование прозы в Греции, но оно отнюдь не было мгновенным. В тот период, к которому мы сейчас переходим (около 600 г. до н. э.), первый зафиксированный прозаический греческий писатель еще не написал своих произведений. Широкий промежуток между началом прозы и совершенством поэзии характерен для греков; многие причины сговорились, чтобы произвести его, но главная из них заключалась в том, что произведения, если они были написаны, не в меньшей степени были написаны для декламации, а не для чтения - они были написаны, чтобы заинтересовать и восхитить, а не формально наставлять. Поэзия, таким образом, была настолько очевидным лучшим средством для достижения цели автора, что мы не можем удивляться тому, что этот канал обращения был выбран повсеместно; легкость, с которой язык формировался в стих, и разрешение, которое, кажется, было предоставлено самым серьезным, чтобы принять поэтическую дикцию, не покушаясь на поэтический дух, позволили даже законодателям и моралистам провозглашать заповеди и приговоры в ритме Гомера и Гесиода. А поскольку до времен Драко законы не писались, было вдвойне необходимо, чтобы они были составлены в той манере, с помощью которой слова наиболее прочно запечатлеваются в памяти народа. Даже при первом появлении Солон в общественной жизни, когда он вдохновляет афинян на войну с Мегарой, он обращается к страстям толпы не орацией, а стихотворением; и в последующий период, когда проза стала привычной, Гиппарх по-прежнему излагал свои моральные апофеизмы в стихах. Поэтому зарождение прозы в Греции вдвойне интересно как эпоха не только в интеллектуальном, но и в социальном плане. Ясно, что она не могла начаться, пока не была создана читающая публика; и пока среди множества поэтов не появились серьезные и ученые люди. Соответственно, философия, передаваемая из уст в уста, предшествовала сочинению прозы - Фалес преподавал раньше, чем Ферекид писал [185]. Для поверхностного человека может показаться удивительным, что литература, в отличие от поэзии, должна начинаться с самого тонкого и трудоемкого направления человеческого интеллекта: однако так было не только в Греции, но и почти во всем мире. Почти во всех странах умозрительные предположения или исследования являются первыми преемниками поэзии. В Индии, Китае, на Востоке самые ранние произведения характеризуются неясной философией - иногда они прививают моральные принципы, иногда аллегорически отображают, а иногда и прямо выражают мнение автора о тайнах жизни, природы, творения. Даже у современников рассвет письменности нарушил оцепенение темных веков Севера спекулятивными изысканиями; арабские и аристотелевские тонкости привлекли внимание самых ранних культиваторов современной прозы (в отрыве от поэтического вымысла), и первым инстинктом пробудившегося разума стало стремление пробиться сквозь туманные сумерки к Истине. Философия опережает даже историю; люди стремились разгадать загадки мира, прежде чем отделили от традиции хроники его прежних обитателей.

Если мы изучим пути младенца, то перестанем удивляться путям младенческой цивилизации. Прежде чем мы сможем привлечь любопытство ребенка к истории Англии, прежде чем мы сможем побудить его с удовольствием слушать наши рассказы даже о Пуатье и Кресси, и (a fortiori) прежде чем ему удастся привить интерес к Magna Charta и Биллю о правах, он по собственной воле будет расспрашивать нас о явлениях природы, интересоваться, как он сам появился на свет, с удовольствием узнает что-нибудь о Боге, которого мы велим ему боготворить, и найдет в радуге и громе, в метеоре и звезде тысячу предметов нетерпеливого любопытства и благоговейного удивления. Его постоянно мучает

вопрос "почему?": "Каждый ребенок рождается философом!" Ребенок - это аналог народа, находящегося еще в детстве. [186]

XII. Из этой проблемы вытекает, что греки сами пришли к стадии философского исследования без какой-либо важной и непосредственной помощи со стороны знаний Египта и Востока. Эти знания, действительно, пробуждали желание, но не направляли дух умозрительного исследования. И главная причина, по которой философия сразу же приняла у греков характер, отличный от восточного мира, как я уже указывал [187], в отсутствии обособленной и привилегированной религиозной касты. Философия, таким образом, оказалась в руках мудрецов, а не жрецов. И все, что ионийские государства (колыбель греческой мудрости) получали из Египта или с Востока, они получали, чтобы воспроизвести в новой и пышной расточительности. Ионические мудрецы брали от старшей мудрости не догмы, не подлежащие сомнению, а предложения, тщательно изучаемые. Так удачно получилось, что более глубокая и зрелая философия Греции стала своего рода промежуточным звеном между системами других народов и своей собственной. Восточные знания попадали в Европу через греческие каналы азиатских колоний и по мере прохождения эллинизировались. Таким образом, то, что было несомненным на Востоке, становилось предположением в Ионии и, в конце концов, сомнением в Афинах. В Греции, как и везде, религия была связана с первыми исследованиями философии. От страха перед богами к вопросу о природе богов перейти легко. Обилие и разнообразие народных суеверий только подстегивало любопытство к их происхождению; а поскольку в Египте единственными философами были жрецы, грек едва ли мог беседовать с египтянином о предметах его религии, не обсуждая также принципы его философии. Какие бы мнения ни формировал и ни провозглашал грек, он не находился под защитой ревнивого и предписывающего жречества, все имели беспрепятственное право обсуждать и спорить с ним, пока мало-помалу дискуссия не переросла в науку.

В общем, отличие греков от их современников заключалось в следующем: если они и не были единственным народом, который философствовал, то были единственным народом, который говорил о философии все, что хотел. Их плагиат с философии других вероисповеданий был удачен, поскольку не представлял собой ничего враждебного национальному суеверию. Если бы они спорили о природе Юпитера или существовании Аполлона, их могли бы преследовать, но они могли сразу же приступить к рассуждениям о вечности материи или о провидении всепроникающего разума.

XIII. Этот дух новаторства и дискуссий, характерный для греков, отмечает Диодор. "В отличие от халдеев, - замечает он, - у которых философия передается от сына к сыну, а все другие занятия отвергаются ее культиваторами, греки поздно приходят к этой науке, занимаются ею недолго, бросают ее ради более деятельного средства к существованию, а те немногие, кто полностью отдается ей, практикуют ради выгоды, вводят новшества в самые важные доктрины, не почитают тех, кто был раньше, создают новые секты, устанавливают новые теоремы и, вечно противореча, вызывают вечные сомнения". Именно эти противоречия и сомнения стали причиной того, что греки стали наставниками всего мира!

Есть еще одна особенность греков, на которую указывает это замечание Диодора. Их первые философы, не освобожденные от других занятий, не были простыми мечтателями в чулане и келье. Они были активными, практичными, волнующими мир людьми. Они были политиками и моралистами, а также философами. Практическое пронизывало идеальное и, по сути, являлось солью, предохраняющей его от разложения. Таким образом, законодательство и наука возникли одновременно, а век Солона - это век Фалеса.

XIV. Из семи мудрецов (если мы примем это число), процветавших в тот же период, шестеро были правителями и государственными деятелями. Они были выдающимися не физическими, а моральными философами, и их мудрость заключалась в их изречениях и апофегах. Они во многом напоминали настороженных и проницательных тиранов Италии в средние века - они управляли действиями людей, становясь читателями их мыслей. Из этих семи Периандр Коринфский (начал править в 625 г. до н. э., умер в 585 г. до н. э.) и Клеобул Линдский (род. в 586 г. до н. э.), тираны в своей жизни и жестокие в своих поступках, были, как говорят, отвергнуты остальными пятью [188]. Но доброта не является необходимым следствием ума, и, несмотря на свои пороки, эти князья заслужили эпитет мудрых. О Клеобуле мы знаем меньше, чем о Периандре; но оба правили с процветанием и умерли в преклонном возрасте. Если не считать Писистрата, Периандр был величайшим художником из всего того способного и глубокого братства, которое под именем тиранов сосредоточило энергию своих государств и подготовило демократию, которую они сменили. Предполагаемые максимы Периандра расходятся с его практикой; они дышат духом свободы и любви к добродетели, что может заставить нас заподозрить их подлинность, тем более что они также приписываются другим. Тем не менее, такое несоответствие вполне естественно, ведь разум формирует наши мнения, а обстоятельства - наши поступки. Афоризм "Демократия лучше тирании" приписывается Периандру, но когда его спросили, почему он остается тираном, он ответил: "Потому что опасно сопротивляться по своей воле или быть свергнутым по своей воле". Его принципы были республиканскими, его положение делало его тираном. Говорят, что в старости он впал в крайнее уныние; возможно, потому, что его вкусы и интеллект враждовали с его жизнью. Хилон, лакедемонский эфор, также помещен в семерку. Его изречения необычайно дорийские - они дышат почтением к мертвым и подозрительностью к живым. "Люби", - говорил он (если верить Аулу Геллию (Aulus Gellius, fl. В. С. 586)), - "как если бы ты мог в будущем ненавидеть, и ненавидь, как если бы ты мог в будущем любить". Другая его излюбленная фраза: "Уверенность в том, что потеря близка". [189] Третья: "Мы испытываем золото на ощупь". Золото - это осязательный камень разума". Биас из Приены в Ионии цитируется Геродотом как автор совета ионийцам покинуть свою страну и основать общий город на Сардинии (586 г. до н. э.). Похоже, что он принимал активное участие во всех гражданских делах. Его известные изречения просты и понятны - элементарные принципы морали. В Митилене на Лесбосе правил знаменитый Питтак (начал править до 589 г. до н. э., ушел в отставку в 579 г., умер в 569 г.). Он возвысился до тирании правления благодаря свободному голосу народа; наслаждался им десять лет и добровольно сложил с себя полномочия, так как носил их только в то время, когда государство нуждалось в руководстве одного вождя. Он придерживался максимы, за которую его упрекает Платон: "Быть хорошим трудно". Его любимым наставлением было: "Знай случай", и это он усилил в другом (если его справедливо приписывают ему): "Предвидеть и предотвращать опасности - удел мудрых, а направлять их, когда они приходят, - храбрых".

XV. О Солоне, величайшем из семи, я еще буду говорить подробно. Теперь я перехожу к Фалесу (родился в 639 г. до н. э.), основателю философии в ее научном смысле - умозрительной в противоположность моральной: хотя Фалес был ярким республиканцем, он один из семи мудрецов вел уединенную жизнь и занимался исследованиями. Он путешествовал по Криту, Азии, а позднее - по Египту. Согласно Лаэртию, Египет научил его геометрии. Предполагается, что свои астрологические представления он почерпнул из Финикии. Но это он мог легко сделать и без посещения финикийских государств. Вернувшись в Милет, он получил титул мудреца [190]. Много знаний было потрачено на его доктрины с очень малой целью. Они были малоценны, если не считать того, что вели к самой ценной из всех философий - философии эксперимента. Они не были новы, вероятно, даже в

Греции [191], и об их полезности читатель сможет судить сам по следующему краткому очерку.

Он утверждал, что вода, или, скорее, влажность, является первопричиной всего сущего, хотя и допускал, что движущим принципом является разум или интеллект (nous). А один из его аргументов в пользу влажности, переданный нам Плутархом и Стобеем, звучит примерно так: -"Потому что огонь, даже в солнце и звездах, питается парами, происходящими от влажности, и поэтому весь мир состоит из того же самого". Он полагал, что весь мир одушевлен и наполнен Божественностью - его Творцом, что в нем нет вакуума, что материя текуча и изменчива. [192]

Он считал, что звезды и солнце - земные, а луна имеет ту же природу, что и солнце, но освещается им. Гораздо более ценной оказалась бы его геометрическая наука, если бы мы могли с точностью приписать Фалесу многие проблемы, на которые претендовал также, и даже более вероятно, Пифагор и более поздние мыслители. Утверждается, что он измерил пирамиды по их теням. Он занимался астрономией и астрологией, а Лаэций объявляет его первым греком, предсказавшим затмения. Фалесу приписывают еще и то, что он ввел среди своих соотечественников доктрину бессмертия души. Но эта возвышенная истина, хотя и не связанная с теорией будущих наград и наказаний, была принята в Греции задолго до его времени. Возможно, однако, как следует из высказываний Цицерона, Фалес был первым, кто попытался обосновать то, во что верили. Его доводы, тем не менее, были достаточно грубыми и нелепыми; объявив, что душа имеет свойство двигаться сама и прочее, он был вынужден наделить душой грузный камень, потому что тот двигал железо!

Рассмотрев эти фантастические доктрины, а также сомнительные геометрические и астрономические открытия, можно спросить, что же сделал Фалес для философии? Главным образом следующее: он дал основания для мнений, пробудил дремлющий дух исследования, сделал для истин то, что законодатели его эпохи сделали для людей - оставил их активными и возбуждающими к свободной и энергичной конкуренции. Он вывел Мудрость из деспотии и поместил ее в республику - он был в гармонии с великим принципом своего века, который заключался в исследовании, а не в традиции; и таким образом он стал первым примером той великой истины, что свободное мышление - это первый шаг к хорошему мышлению. К счастью, его моральные теории, как бы неадекватно они ни были аргументированы, были благородны и возвышенны. Он отстаивал провидение Бога, а также бессмертие человека. Он утверждал, что порок - самое ненавистное, а добродетель - самое выгодное из всего сущего [193]. Он вел войну против вульгарного упорства в жизни, которое является врагом всего самого духовного и предприимчивого в нашей натуре, и утверждал, что между жизнью и смертью нет никакой разницы, что следует из веры в непрерывное существование души [194]. Его особой максимой была знаменитая заповедь: "Познай самого себя". Его влияние было энергичным и непосредственным. Насколько он создал философию, можно сомневаться, но он создал философов. Из плодovitого интеллекта, который вызвали к жизни его слава и исследования, возникла новая раса мыслителей, которая продолжалась непрерывной чередой, пока они не породили потомков, прославленных и бессмертных. Если бы не стойкие ошибки Фалеса, Сократ мог бы провести свою жизнь в порче мрамора, Платон мог бы стать лишь поэтом десятого разряда, а Аристотель - интригующим педагогом.

XVI. На этом я завершаю вводные главы и перехожу от диссертации к истории, желая, чтобы наш общий обзор Греции завершился признанием наших обязательств перед ионийскими колониями. Вскоре от созерцания этих очаровательных мест, обширной торговли и блестящего гения народа - родины эпической и лирической музыки, первого дома истории, философии, искусства - мы перейдем к рассмотрению подъема и великолепия азиатских

ионийцев и агонии их борьбы, катастрофы их падения. Эти замечательные дети Греции обладали чем-то родственным преждевременному интеллекту, который часто является симптомом преждевременного упадка. Зародив и развив почти все, что может произвести воображение или разум, находясь еще в той социальной юности, которая обещала долгое и еще более славное существование - в то время как даже сама их великая родительница едва вышла из долгого воспитания народов, - они впали в немощь возраста! Среди жизненной борьбы, за которой последовало изнеможение ее ионийских детей, величественные Афины внезапно поднялись из безвестности прошлого в империю, которая никогда не погибнет, пока героизм не перестанет согревать, поэзия - восхищать, а мудрость - наставлять будущее.